Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»

На правах рукописи

Слепухин Сергей Николаевич

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ КАТЕГОРИЙ ‘PERSONA’, ‘RES MOBILIS / RES IMMOBILIS’)

Специальность 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель –
доктор филологических наук,
профессор Проскурин С.Г.

Новосибирск – 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ИНДОЕВРОПЕСКИЕ СЕМИОТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН 13
1.1. Языковая картина правовой реальности («альтернативного мира») в юридическом дискурсе 13
1.1.1. Юридический дискурс как разновидность институционального социально-ролевого дискурса 13
1.1.2. Перформативность юридического дискурса 23
1.1.2.1. Юридический дискурс как пространство перформативных высказываний-действий 23
1.1.2.2. Реализация речевых актов в юридическом дискурсе 28
1.1.2.3. Ритуал как источник стереотипизации современного юридического дискурса 47
1.1.3. Мотивы и предпосылки появления представлений о правовой реальности в индоевропейской культуре 58
1.1.3.1. Концептуальная схема корреляции оппозиций «Свои vs. Чужие» и «Космос vs. Хаос» в эпоху «предправа» 58
1.1.3.1.1. Ритуал как первый «кодекс мира» индоевропейцев 58
1.1.3.1.2. Лингвокультурные предпосылки осмысления правовой реальности в индоевропейской культуре: демаркация концептуальной границы в корреляциях оппозиций «Свои vs. Чужие» / «Космос vs. Хаос» 66
1.1.3.1.3. Репрезентация «Мира» как ритуализованного расчерченного пространства в древнегреческой концепте νόμος и древнеримском ритуале regere fines 78
1.1.4. Право как результат ритуально-речевой деятельности: лингвокультурные основания концепта ius 85

1.1.5. Формальный язык юридического дискурса как результат эволюционного семиотического процесса: на примере некоторых терминов римского права 94
1.2. Стереотипность ритуального речевого поведения и вектор его семиотической эволюции 107
1.2.1. Некоторые психофизиологические и социальные предпосылки ритуального речевого поведения 107
1.2.2. Вектор семиотической эволюции ритуального речевого поведения в индоевропейской культуре по Ю.В. Моничу: феномен границы 115
ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 119
ГЛАВА 2. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «ДВИЖИМОЕ VS. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» В ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 126
2.1. Асимметрия в семантических оппозициях юридического дискурса: особенности реализации и предпосылки возникновения 126
2.2. Реализация семантической оппозиции «движимое имущество vs. недвижимое имущество» в юридическом дискурсе французского, немецкого, английского и русского языков 134
2.3. Историко-генетический анализ лингвокультурных предпосылок и мотивов появления семантической оппозиции res mobilis vs. res immobilis 144
2.4. Оппозиция «феод vs. личное имущество» как результат развития отношений древнегерманских форм *fehu и *oþal 160
ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 169
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕРИМСКОГО КОНЦЕПТА PERSONA В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ И СЕМИОТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 173
3.1. Историко-генетические предпосылки появления юридического термина persona: постановка проблемы 173
3.1.1. Persona как концептуализированная область культуры. Методы исследования 173
3.1.2. Подходы к этимологии лексемы persona 179

3.2. Историко-генетические мотивы появления и развития концепта persona в латинском языке и древнеримского культуре: от культа головы к репрезентации социального статуса pater familias 188
3.2.1. Историко-генетические мотивы концептуализации маски предка как подобия лица умершего в архаичной культуре Древнего Рима: лингвокультурные аспекты 188
3.2.2. Pater familias как единственное полноправное лицо (persona sui iuris) в родовом обществе Древнего Рима: репрезентация господствующего класса patres в языке и материальной культуре 200
3.3. Историко-генетические мотивы семантического перехода: ‘persona – театральная маска’ → ‘persona – субъект права’ 212
ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ 215
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 219
БИБЛИОГРАФИЯ 227
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЯЗЫКОВ 244
ПРИЛОЖЕНИЕ «Фрески из этрусских гробниц (гробницы Авгуров, Пульчинеллы, Олимпиады, Галлы, Обезъяны)» 245

ВВЕДЕНИЕ

Диссертация посвящена исследованию лингвокультурных предпосылок, а также семиотических механизмов стереотипизации и концептуализации правовой реальности в юридическом дискурсе некоторых индоевропейских языков (преимущественно латинского, а также древнегреческого, русского и французского языков; древнегерманских и германских языков; языков индоиранской группы) на примере диахронного анализа семантической оппозиции «движимое vs. недвижимое имущество» и концепта persona. Изучение генезиса и диахронного развития правовых феноменов в сфере их языковой реализации позволит отразить правовую реальность как культурно-обусловленную семиотическую систему, которая, подчиняясь общим закономерностям эволюции знаковых систем, имеет специфические черты, составляющие особенности юридического дискурса.

Существующие исследования юридического дискурса, как правило, ограничиваются синхронным анализом особенностей его языковой реализации в различных текстах. Остаются фактически полностью не исследованными вопросы, касающиеся:

- историко-генетических мотивов появления и развития правовой культуры как неотъемлемой части языковой сферы;
- реконструкции исторических этапов языковой реализации правовой реальности;
- проявления общеязыковых закономерностей в юридическом дискурсе.

Также фактически отсутствуют работы, посвященные исследованию базовых юридических понятий как явлений правовой культуры на основе лингвистических данных.

В настоящем исследовании решается проблема, касающаяся проявления общесемиотических механизмов функционирования естественного языка в сфере правовой культуры, а именно – обусловленность стереотипности и механизмов

стереотипизации юридического дискурса семиотическими закономерностями языковой реализации представлений о мире в индоевропейской традиции.

Таким образом, **актуальность** выбранной **темы** определяется необходимостью исследования лингвокультурных предпосылок языковой реализации современных юридических дискурсивных практик. Рассмотрение системообразующих правовых терминов как концептов, являющихся результатом развития идей и представлений в поле индоевропейской культуры, позволит реконструировать общую смысловую «ось» их проявления в индоевропейской языковой традиции и в то же время выявить культурно обусловленные различия языковой реализации этих идей и представлений, показать исток и мотив генезиса механизмов стереотипизации в современном юридическом дискурсе.

Объектом настоящего исследования являются лингвокультурные предпосылки возникновения и развития в индоевропейской традиции юридического дискурса как метасемиотической системы на базе естественного языка. Основные понятия и категории юридического дискурса рассматриваются в диахронной ретроспективе как лингвокультурные константы, концептуализация которых обусловлена семиотическими механизмами стереотипизации. На примере концепта persona и оппозиции res mobilis vs. res immobilis рассматриваются, соответственно, семиотические закономерности ослабления признака действия и явление маркированности в семантической оппозиции.

Предметом исследования являются особенности семиотических механизмов стереотипизации в юридическом дискурсе индоевропейской лингвокультурной традиции.

Материалом исследования послужили древние памятники архаической и классической латыни, древнегреческого языка, современные юридические тексты на русском, английском, французском и немецком языках; статьи и публикации отечественных и зарубежных исследователей. Эпизодически, для подтверждения

главной смысловой линии исследования, привлекаются тексты на древнегерманских и древнерусском языках, памятники этрусской культуры.

Основная **цель** настоящего исследования – раскрыть лингвокультурные предпосылки генезиса и концептуализации юридического дискурса в индоевропейской культуре, а также выявить механизмы стереотипизации системообразующих правовых терминов в индоевропейском юридическом дискурсе на примере концепта persona и оппозиции res mobilis vs. res immobilis.

Реализация указанной цели осуществляется посредством решения следующих **задач**:

– показать основные черты семиотической эволюции юридического дискурса в индоевропейской культуре;

– выявить историко-генетические предпосылки языковой стереотипизации юридического дискурса в индоевропейской культуре;

– определить историко-генетические причины асимметрии в семантической оппозиции res mobilis vs. res immobilis в юридическом дискурсе латинского языка;

– выявить специфику проявления асимметрии в семантической оппозиции «движимое имущество vs. недвижимое имущество» в современных русском, французском, немецком и английском языках;

– определить историко-генетические мотивы появления и развития концепта persona в латинском языке и древнеримской культуре.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

1) юридический дискурс естественного языка рассматривается как метасемиотическая система в рамках сравнительно-исторического, когнитивно-семиотического и лингвокультурного подходов;

2) определяются лингвокультурные основания стереотипизации юридического дискурса в индоевропейской культуре;

3) в рамках лингвокультурного подхода, с использованием методов оппозитивного и компонентного анализа, произведена сравнительно-

историческая реконструкция диахронной ретроспективы категорий res mobilis vs. res immobilis;

4) произведена сравнительно-историческая реконструкция лингвокультурных предпосылок реализации концепта persona, в основе которой (реконструкции) лежит понимание концепта как основной ячейки культуры в ментальном мире человека, состоящей из трех слоев (уровней), связанных между собой историко-генетическим единством и являющихся результатом культурной жизни разных эпох.

Теоретическую базу исследования составили работы, связанные с изучением концептуализации социальных явлений в индоевропейской культурной традиции [Бенвенист 1995; Гамкрелидзе, Иванов 1984; Проскурин 2005; Степанов 2004; Степанов, Проскурин 1993; Тайлор 1989; Шрадер 2010; Meillet 1907; Watkins 1995]; исследования по вопросам теории маркированности в оппозиции [Данези 2011; Лакофф 2004; Трубецкой, 1960; Якобсон, 1985; Battistella 1990; Chandler 1994]; исследования по вопросам теории семиотики [Проскурин 1990, 2005, 2009; Степанов 1971, 1977, 1981, 1985, 1989, 2004; Proskurin, 2010]; исследования по вопросам теории дискурса и дискурсивных практик [Степанов 1995; Фуко 1996; Карасик 2004].

Теоретическая значимость работы заключается в расширении области применения лингвокультурного, когнитивно-семиотического подходов, а также методов сравнительно-исторической реконструкции на концептуализированную сферу юридического дискурса. На примере категорий persona и res mobilis vs. res immobilis показаны особенности применения этих методов и подходов. Через всё исследование проведена мысль, выраженная в тезисе: «Право – это лингвокультурный феномен, которому свойственны все черты и закономерности концептуализации и терминологизации в языке социальных явлений».

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты и материалы полученного исследования могут быть использованы для создания

сравнительно-исторического словаря социально-правовых терминов в индоевропейской традиции: каждый такой термин может быть рассмотрен как концепт-инвариант, по смыслу общий для культуры индоевропейцев, однако реализующийся в каждой отдельной языковой традиции своим особым путём (при этом, степень отклонения вариантов от инварианта должна быть обоснована как лингвистическими, так и экстралингвистическими данными, что позволит реализовать в таком словаре также и функцию прогностического анализа).

Результаты и материалы полученного исследования могут быть использованы при разработке спецкурсов и при подготовке к практическим занятиям по тем дисциплинам, которые касаются дискурс-анализа и (или) исторической семантики индоевропейских языков.

Научные результаты и материалы исследования могут быть использованы специалистами в области права при разработке как теоретико-методологических проблем юридических наук, так и различных нормативно-правовых актов.

Положения, выносимые на защиту.

1. Юридический дискурс в индоевропейской традиции представляет собой культурно обусловленную метасемиотическую систему (юридический язык), построенную на базе естественного языка (естественный язык является планом выражения юридических идей и ценностей, некой правовой реальности). Данная метасемиотическая система реализуется в конвенциональных перформативных актах. Знаковые отношения между планом выражения и планом содержания юридического дискурса в диахронном аспекте представляют собой эволюционный семиотический процесс, характеризующийся семиотическим ослаблением его содержательных признаков.

2. Индоевропейские механизмы стереотипизации юридического дискурса обусловлены главным образом: 1) социальной значимостью процесса и результата категоризации при установлении, применении и использовании норм, содержащихся в перформативных деонтических высказываниях текстов различных правовых актов, отражающих конвенциональные представления о

социальном «порядке»; 2) выраженным стремлением участников юридических дискурсивных практик соответствовать этому «порядку». Действующий правовой порядок представлен совокупностью актуальных дискурсивных практик, определяющих *границы социального значимого поведения*; контур этих границ проявляется в языке амбивалентно и описывается в текстах нормативно-правовых актов как допустимое и не допустимое социальное поведение.

3. Одна из главных предпосылок концептуализации и стереотипизации правовых феноменов – это существование ментальной границы, упорядочивающей человеческое поведение в соответствии с базовыми коррелирующими культурными оппозициями «Свои vs. Чужие» : «Космос vs. Хаос». Базовые индоевропейские культурные оппозиции «Свои vs. Чужие» и «Космос vs. Хаос», определявшие представления индоевропейцев о «порядке» в эпоху «предправа», в диахронном срезе представляют собой мотивационную основу для современных социально значимых оппозиций, структурирующих сообщества и соответствующих эпохе права – «нормальное vs. ненормальное», «закон (право) vs. преступление», «гражданская общество (община) vs. преступное сообщество».

4. Семантическая оппозиция «движимое имущество vs. недвижимое имущество» в российском, французском, немецком и английском юридических дискурсах полностью восходит к лат. оппозиции *res mobilis vs. res immobilis.* В основе древнеримской оппозиции *res mobilis vs. res immobilis* лежат представления, восходящие к представлениям древних индоевропейцев о богатстве и (или) личном имуществе, которые первоначально репрезентировались в языке в форме биномов. Одним из членов данных биномов являлась лексема, обозначавшая «скот» как наиболее репрезентативный пример данной категории. Синтагматические отношения *res + mobilis* являются не случайными, но мотивированными архисемой ‘оборотное имущество’ лат. термина *pecunia,* генетически связанного с и.-е. **peku* через и.-е. концепт **uiro-peku*- ‘люди-скот’.

5. Диахронное развитие концепта persona характеризуется семиотическим ослаблением проявления интенсивности семантического признака при

неизменности его основной функции – «репрезентация отсутствующего в качестве присутствующего»: лицо как передняя часть головы => лицо как маска, имитирующая черты лица => лицо как театральная маска => лицо как субъект права = имя.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, трёх глав, Заключения, Библиографии, Списка принятых сокращений языков и Приложения.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования обсуждались на I Международной научно-практической конференции «Язык и культура», посвящённой памяти академика РАН, доктора филологических наук, профессора Ю.С. Степанова (Новосибирск, НГТУ, 18 мая 2012 г.); на I Международной научной конференции «Римское частное право: многовековой опыт развития европейского права» (Новосибирск, НГУ, 1−3 июля 2012 г.), на I научной конференции «Научные поколения и лингвистические парадигмы», посвящённой памяти академика РАН Ю.С. Степанова (Москва, Институт языкознания РАН, 14-16 февраля 2013 г.).

Основные положения диссертации опубликованы в следующих изданиях, рекомендованных ВАК для публикаций результатов докторских и кандидатских исследований:

1. *Слепухин С.Н.* Категории юридического языка в плане выражения естественного языка: когнитивно-семиотический подход / С.Н. Слепухин // Сибирский филологический журнал. – 2011. – Вып. 3. – С. 222 – 226.

2. *Слепухин С.Н.* Предпосылки осмысления категории «движимое имущество» в индоевропейских языках / С.Н. Слепухин // Язык и Культура: сборник материалов 1-й Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАН, доктора филологичеких наук, профессора Ю.С. Степанова: в 2-х частях. Часть 2. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С. 100 – 109.

3. *Слепухин С.Н.* Лингвокультурные предпосылки появления и становления категорий res mobilis / res immobilis в римском праве / С.Н. Слепухин // Вестник

Новосибирского государственного университета. Серия: Право. – 2012. – Том 8. – Вып. 2. – С. 301 – 306.

4. *Слепухин С.Н.* Лингвокультурные предпосылки осмысления правовой реальности в индоевропейской культуре: демаркация концептуальной границы в оппозиции «свой vs. чужой» / С.Н. Слепухин // Сибирский филологический журнал. – 2013. – Вып. №4. – С. 235 – 240.

А также в следующих публикациях:

5. *Слепухин С.Н.* Неклассическая категоризация в юридическом языке / С.Н. Слепухин // Межкультурная коммуникация: лингвистические и лингводидактические аспекты: сборник материалов 2-й международной научно-методической конференции. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. – С. 213 – 220.

6. *Слепухин С.Н.* Когнитивный механизм референции в юридическом языке / С.Н. Слепухин // Социальные коммуникации и эволюция обществ: сборник материалов 3-й Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. – С. 160 – 166.

7. *Слепухин С.Н.* Лингвокультурные предпосылки реализации древнеримского концепта ‘persona’ в юридическом дискурсе / С.Н. Слепухин // Языковые параметры современной цивилизации: сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН, Ю.С. Степанова. – Москва: Институт языкознания РАН, 2013. – С. 233 – 241.

ГЛАВА 1. ИНДОЕВРОПЕСКИЕ СЕМИОТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН

1.1. Языковая картина правовой реальности («альтернативного мира») в юридическом дискурсе

1.1.1. Юридический дискурс как разновидность институционального социально-ролевого дискурса

Право, как известно, является одним из базовых элементом системы социальных норм, или «правил социально значимого поведения членов общества» [Марченко 2005: 551]. Представляется, что генезис этих норм первоначально основывался на социальных потребностях отдельных индивидов в кооперации для совместного достижения тех или иных целей, во многом обусловленных биологическими потребностями. С развитием общества усложняются и общественные отношения: на первый план выдвигаются социальные потребности самого сообщества, которое, осознавая себя как коллективное целое, стремится закрепить полученный коллективный опыт в различных правилах взаимодействия человека с членами своего и других сообществ, с природой и с техникой. Акцент в генезисе социальных норм «всё больше смещается на социальные детерминанты…нормы всё очевиднее и результативнее выступают непосредственным компонентом производительных сил, а выработка большинства их видов становится прямой функцией, обязанностью специальных государственных организаций» [Хомич 2006].

Таким образом, социальные нормы находятся в процессе постоянной трансформации, которая обусловлена динамикой потребностей и ценностей того или иного сообщества.

Социальные нормы, в том числе и право, являясь продуктом человеческого сознания, разума, воплощаются посредством языка – это объективированный в

языке коллективный опыт взаимодействия человека в различных сферах его жизнедеятельности, воплощенный разум.

Проведённые нейробиологами эксперименты показывают, что «язык есть непременное условие для существования того опыта, который мы называем разумом» [Варела, Матурана 2001: 204], а единство человеческого социума обеспечивается полем лингвистических различений, которое устроено как «область онтогенетических координаций действий» [Там же: 187]. Таким образом, право по своему происхождению связано с языком, в языке объективируется и через язык познаётся.

Онтологической формой существования права является текст, в широком понимании этого слова, включающий в себя образцы письменной и устной речи, реализуемые в различных актах правовой коммуникации. Под правовой коммуникацией в настоящем исследовании понимается процесс передачи информации, который характеризуется следующими отличительными чертами:

1. **Институциональность**. Формальные и содержательные условия правовой коммуникации определяются и санкционируются институциональным профессиональным сообществом на нескольких уровнях: правотворческом, правоприменительном и «прагматическом».

1.1. На правотворческом уровне коммуникации, в соответствии с установленными правилами, регулирующими разработку, обсуждение, принятие и опубликование нормативно-правовых актов, создаются сообщения, которые, будучи выраженными в определённой форме, при условии соблюдения указанных правил, наделяются иллокутивной силой: а) предписывать членам общества обязательное поведение, б) запрещать членам общества недопустимое поведение или в) дозволять членам общества свободу выбора поведения. С момента наделения иллокутивной силой такой акт становится обязательным для соблюдения и исполнения всеми лицами, находящимися в пределах юрисдикции адресанта, а так как акт правотворческой коммуникации рассчитан на неоднократное применение, круг адресатов правотворческого акта в формально-логической перспективе является неопределённым множеством.

1.2. Иллокутивная сила актов (ненормативных правовых актов) на правоприменительном уровне коммуникации определятся общим назначением правоприменения – разрешение государственными и местными органами власти конкретных социально значимых жизненных ситуаций на основе действующих норм права, как правило, в форме различных предписаний, воплощённых, например, в решении суда, в протесте прокурора, в постановлении отдела государственного пожарного надзора о наложении административного штрафа, в уведомлении об устранении нарушений налогового законодательства и др.

Адресантами сообщения правоприменительного акта являются органы власти и специально уполномоченные организации в лице своих конкретных представителей, деятельность которых строго регламентируется правилами, установленными как на правотворческом (например, в законе), так и на правоприменительном уровнях коммуникации (например, во внутриведомственной инструкции по осуществлению работниками ведомства определённых действий в рамках проведения того или иного мероприятия).

Адресатами сообщения правоприменительного акта являются конкретные лица, которые так или иначе связаны с разрешаемой адресантом ситуацией.

1.3. «Прагматический» уровень правовой коммуникации. Нужно отметить, что адресантом правовой коммуникации может быть и любое частное лицо, намеревающееся использовать возможности, предоставленные позитивным правом, для достижения своих целей (например, получение денежных средств за переданное в собственность имущество, защита нарушенного права, расторжение брака и т.д.) в результате совершения требуемых юридически значимых действий (например, подача жалобы в компетентный орган государственной власти с описанием фактических обстоятельств возникшей ситуации и правовым обоснованием своих требований; передача имущества покупателю при его продаже; представление суду доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которые лицо ссылается в обоснование своих требований и т.д.) в соответствие с принятой конвенциональной обязательной процедурой (например, любой процессуальный кодекс содержит обязательные формальные и содержательные

требования, предъявляемые к совершению лицом юридически значимых действий в рамках судебного или административного разбирательства). Окончательную оценку соответствия совершённых юридически значимых действий требованиям конвенциональной процедуры может дать только институциональное сообщество (например, суд, разрешающий вопрос о недействительности какого-либо договора).

Так как в рассматриваемом случае адресант, направляя сообщение тому или иному адресату, желает достичь своих собственных целей, данный вид правовой коммуникации можно назвать «прагматической». Иллокутивная сила акта прагматической коммуникации обусловлена соответствием этого акта обязательным правилам, определяемым институциональным сообществом.

2. **Социальная значимость сообщения**. В поле правовой коммуникации попадают только социально значимые отношения членов общества, так как основным назначением правовой коммуникации является поддержание системы социального контроля; общеобязательную оценку социальной значимости тех или иных отношений даёт институциональное сообщество в различных актах правовой коммуникации.

3. **Перформативный характер правовой коммуникации**: как будет показано ниже, любое юридическое высказывание одновременно является и юридическим действием, которое влечёт определённые правовые последствия.

4. **Кодом правовой коммуникации является естественный язык**; однако использование единиц и правил естественного языка в конкретном юридическом высказывании осуществляется на иллокутивном фоне интенции адресанта и во многом определяется этим фоном. При этом наличие такой интенции в юридическом высказывании далеко не всегда очевидно для не юриста: когнитивные механизмы уяснения смысла любого текста, сформулированного на естественном языке, с неизбежностью будут актуализировать у не юриста восприятие, предзаданное его языковым опытом.

Поэтому при обыденном толковании юридического текста всегда существует вероятность неверного понимания его смысла. Например, часто в

тексте законов и подзаконных актов для обозначения специальных понятий используются лексемы, которые в неюридической речи обозначают понятия, не совпадающие с юридическими, как по своему объёму, так и по своему содержанию.

Так, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации Правилами дорожного движения, термин «механическое транспортное средство» не включает в свой экстенсионал совокупность объектов, обозначаемых термином «велосипед», так как данное транспортное средство не имеет двигателя [Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090]. При этом для любого образованного человека совершенно очевидно, что велосипед, не оборудованный двигателем, в любом случае, приводится в движение в результате механического взаимодействия материальных тел, что может вызвать обоснованное непонимание смысла приведённого термина с точки зрения физической картины мира. Однако при толковании рассматриваемых понятий следует отталкиваться не от физического смысла того, что понимать под «механическим», а от интенции автора Правил дорожного движения установить в отношении объектов, входящих в экстенсионал этих понятий, соответствующий правовой режим (=порядок).

Приведённый пример ясно показывает, что для верного уяснения смысла того или иного юридического текста важно правильно определить прагматический (иллокутивный) аспект его семантики, поскольку раскрытие значения входящих в него высказываний, слов и выражений происходит в различных актах правовой коммуникации, обладающих свойством перформативности.

Далее нужно отметить, что познание правовой природы тех или иных общественных отношений предполагает актуализацию мыслительных операций и познавательных стратегий, направленных на установление соответствия реализации конкретного социального взаимодействия нормативным предписаниям и запретам. По удачному выражению Е.А. Кожемякина, «…юридическое познание носит «диагностико-оценивающий» характер» [Кожемякин 2011: 137], то есть для правильного понимания юридического смысла

какого-либо объективного явления недостаточно «описать некоторое положение дел; необходимо установить степень и характер его отклонения от нормы или её соблюдение в соответствии с принятой в качестве легитимной в юридической практике когнитивной моделью, то есть осуществить индивидуализирующую или типологизирующую диагностику» [Там же: 137].

Наличие особых познавательных стратегий, используемых в юридической практике, позволяет говорить о существовании особого юридического мышления, которое, как правило, не свойственно не юристу, поскольку планом выражения юридического взгляда на вещи является естественный язык. Способ мышления не юриста, если он захочет оценить тот или иной социальный акт на соответствие нормам закона, с неизбежностью будет основываться на тех понятийных средствах, которые сформировались в его сознании в результате конкретного социального опыта использования языка.

Данный вопрос имеет давнюю историю научного осмысления. Одно из первых системных исследований феномена юридического мышления можно найти в трудах немецкого учёного Р. Иеринга, который, в частности, указывает: «мышленіе юридическое и мышленіе не-юристовъ находятся между собою въ крайнемъ противорѣчіи» [Иеринг 1905: 12]. Причину этого немецкий исследователь видел не «…въ обиліи матеріала, сколько въ его качествѣ и вызванной этимъ своеобразной трудности владѣнія имь и примѣненія» [Там же: 7]. Потому как «право не есть простая масса законовъ, а нѣчто совершенно иное… Законы можетъ не-юристъ также хорошо заучить, какъ юристъ, но чтобъ понимать и примѣнять право, для этого недостаточно одного здраваго разума, а необходимы еще: I) пріобрѣтаемая лишь многолѣтними усиліями и упражненіями своеобразная способность воспрининманія, особая искусность отвлеченнаго мышленія, юридическая интуиція, воображеніе, 2) умѣлость въ обращеніи съ юридическими понятіями, способность легкаго перевода понятій изъ области отвлеченнаго въ область конкретнаго и наоборотъ, верный глазъ, безошибочность при раскрытіи правоваго понятія въ данномъ правовомъ казусѣ (юридическій діагнозь), словомъ — юридическое искусство» [Иеринг 1905: 7-8].

Нужно отметить, что взятый в настоящем исследовании лингвистический ракурс рассмотрения феномена юридического мышления требует введения специального термина, который бы указал, с одной стороны, на обусловленность реализации этого типа мышления естественно-языковыми формами (как тонко заметил Э. Бенвенист в одной из своих работ, «языковая форма является…не только условием передачи мысли, но, прежде всего, условием ее реализации» [Бенвенист 1974: 104]), с другой стороны, на особенность наполнения смыслом этих форм в конкретном юридическом тексте.

Представляется, что такой термин может быть сформулирован на основе понятия «языковая картина мира» (Weltbild der Sprache), введённого в научный дискурс Л. Вайсгербером в 30-е годы XX века. В частности, немецкий исследователь отмечал, что «словарный запас конкретного языка включает в целом, вместе с совокупностью языковых знаков, также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового сообщества овладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях определенную картину мира и передает ее всем членам языкового сообщества» [Радченко 2005: 235]. По мнению немецкого исследователя, понятийные средства общеупотребительного языка в той или иной мере обуславливают также и научный тип мышления: «всякое научное мышление основывается на дифференциациях и способах мышления, данных в общеупотребительном языке» [Там же: 248]. При этом Л. Вайсгербер всё же допускал относительную свободу рефлексии человеческого сознания от общеупотребительного языка, указывая на то, что в рамках языковой картины мира «мы можем позволить себе некоторый манёвр, который и делает нас индивидуальностями» [Даниленко].

Концепция Л. Вайсгербера абсолютизирует влияние естественного языка на человеческое мышление, не учитывая, однако, обусловленность последнего самим объектом познания, а также целями, на которые оно ориентировано при

исследовании того или иного объекта. Таким образом, можно говорить скорее о языковых картинах различных миров, являющихся культурно обусловленными языковыми представлениями фрагментов объективной реальности. Учитывая такой подход, в социальной сфере можно выделить религиозную, политическую, правовую и др. виды «реальностей», которым соответствует определённый тип мышления и, соответственно, особый способ использования естественного языка. Следовательно, можно говорить о языковой картине правовой реальности, которая не сводится к физическому или фактическому миру, а является следствием юридического взгляда на объективные вещи и отношения, неким «альтернативным» миром.

Итак, языковая картина правовой реальности, с одной стороны, в силу своей коммуникативной природы – динамическое, постоянно развивающееся явление, с другой стороны, она есть социальная данность, санкционируемая институциональным сообществом. Поэтому для понимания и применения языка права необходимо знать условия осуществления социальных действий, в ходе которых создаются и реализуются правовые нормы. То есть, реализация естественного языка в сфере права предполагает существование специальных правил, определяющих область его возможных проявлений. Данные правила рассматриваются в настоящей работе как дискурсивные практики.

Теоретическая разработка термина «дискурсивная практика» принадлежит, как известно, М. Фуко, который характеризует её как «совокупность анонимных, исторических, всегда детерминированных во времени и пространстве правил, которые в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического сектора определили условия осуществления функции высказывания» [Фуко 1996: 118]. Нужно отметить, что М. Фуко наделяет понятие «высказывание» новым смыслом, не совпадающим с традиционным его пониманием в логике и в лингвистике. Для него высказывание составляет «атом дискурса» и определяется как «функция существования, принадлежащая собственно знакам, исходя из которой можно путем анализа или интуиции решить, «порождают ли они смысл», согласно какому правилу

располагаются в данной последовательности или близко друг к другу, знаками чего являются и какой род актов оказывается выполненным в результате их формулирования (устного или письменного)», или «функция, скрещивающая область структур и возможных общностей и организующая их появление во времени и пространстве» [Фуко 1996: 88]. То есть для М. Фуко высказывание – это модус существования человеческого знания, проявляющегося в дискурсивных практиках как событие, а не вербальная последовательность знаков.

М. Фуко отмечает, что множество высказываний, принадлежащих к той или иной дискурсивной формации («ансамбль дискурсивных событий» [Там же: 81]), и составляют определённый «дискурс». Иными словами, дискурс определяется исторически сложившимися правилами (=дискурсивными практиками), обеспечивающими возможность говорения о чём-либо, и тем самым, по образному выражению М. Фуко, предстаёт для исследователя как «тонкая контактирующая поверхность, сближающая язык и реальность» [Там же: 49].

Итак, дискурс, в соответствии с концепцией М. Фуко, не может быть сведён к реализации языка в устных или письменных речевых актах. Мысль об автономном характере дискурса имеет место и в современных лингвистических исследованиях. Например, по мнению Е. С. Кубряковой, «под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму» [Кубрякова 1995: 164]. Несмотря на подчёркнутый автономный характер дискурса в концепции Е.С. Кубряковой, данный взгляд не может быть принят автором как одна из теоретических точек опоры настоящего исследования: когнитивный процесс, связанный с речепроизводством, также обусловлен дискурсивными практиками, поэтому он, как и текст, находится в поле дискурса. Другой исследователь, Ю.С. Степанов, отмечает, что дискурс – это «язык в языке»…представленный в виде особой социальной данности…Это «возможный (альтернативный) мир» в полном смысле этого логико-философского термина» [Степанов 1995: 44 – 45]. Данная

точка зрения («язык в языке») коррелирует с взглядами М. Фуко на суть дискурса и принимается автором диссертационной работы как наиболее соответствующая целям и предмету настоящего исследования.

Такая черта дискурса, как «социальная данность», особенно ярко проявляется в правилах, определяющих правовую коммуникацию (=дискурсивных практиках), поскольку последняя, как было отмечено выше, обладает институциональным характером. Соответственно, юридический дискурс является институциональным дискурсом в противоположность личностному или художественному.

В.И. Карасик отмечает, что институциональный дискурс представляет собой «**общение в рамках статусно-ролевых отношений**, т.е. речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом» [Карасик 2004: 245]. Юридический дискурс, несомненно, обладает выраженным предзаданным статусно-ролевым характером: если человек вступает в какое-либо правовое отношение, он репрезентируется в дискурсе в качестве лица, то есть «актера» (лат. *persona*), способного исполнять социально-правовые роли (лат. *personae*) по строго определенному и установленному в законе правовому сценарию (подробнее об этом см. Главу 3). Однако, как уже отмечалось выше, юридический дискурс не может быть сведён к специальному «речевому взаимодействию», являясь, скорее, условием его осуществления.

На такие черты, как социальная данность (1) юридического дискурса и статусно-ролевой характер регулируемых им отношений (2), указывал также М. Фуко:

1. Наряду с «дискурсами, которые исчезают вместе с тем актом, в котором они были высказаны», имеются «дискурсы, которые лежат в основе некоторого числа новых актов речи», которые «бесконечно сказываются, являются уже сказанными и должны быть еще сказаны. Такие дискурсы хорошо известны в системе нашей культуры: это, прежде всего, религиозные и юридические тексты, это также весьма любопытные по своему статусу тексты, которые называют «литературными»; в какой-то мере это также и научные тексты» [Фуко 1996: 59].

2. «Религиозные, юридические, терапевтические, а также, частично – политические дискурсы – совершенно неотделимы от выполнения такого ритуала, который определяет для говорящих субъектов одновременно и их особые свойства и отведенные им роли» [Там же: 70].

Учитывая сказанное выше, в данном исследовании юридический дискурс понимается как, с одной стороны, воплощённая в дискурсивных практиках языковая картина правовой реальности; с другой стороны, как единое коммуникативное пространство, которое создаётся и возобновляется в дискурсивных практиках, определяемых институциональным сообществом, с целью обеспечения функции социального контроля и общественного порядка. С этого ракурса юридический дискурс есть предзаданное условие реализации права.

1.1.2. Перформативность юридического дискурса

1.1.2.1. Юридический дискурс как пространство перформативных высказываний-действий

Выше отмечалось, что перформативность является одной из существенных и неотъемлемых черт правовой коммуникации. Другими словами, утверждается, что юридический дискурс функционирует в перформативных высказываниях. В диахронной перспективе постулируется, что в индоевропейской культуре правовой лексике изначально была присуща «речевая семантика» ритуального действия.

Интенция говорящего в юридическом дискурсе характеризуется стремлением к созданию или изменению социального пространства. С историко-генетической точки зрения в основе этого стремления лежит глубинное индоевропейское представление о праве как об инструменте поддержания космического порядка (см. следующий подраздел данной главы), который реализуется в соответствующих ритуальных репрезентациях. Учитывая, что онтологическим существованием права в лингвистической перспективе является текст (в широком смысле этого слова), выраженный на естественном языке в устной или письменной речи, предполагается, что инструментами формирования

и поддержания социального порядка (ср. рус. *правопорядок*) выступают перформативные высказывания.

Возможность изменения и поддержания социального порядка посредством осуществления перформативного высказывания в речевом акте есть следствие его основного свойства – аутореферентности (автореферентности), или самореферентности, то есть способности «соотноситься как со своим референтом с той реальностью, которое оно само создаёт, в силу того, что оно произносится в условиях, которые делают его действием» [Бенвенист 1974: 308].

Говоря словами Э. Бенвениста, важно подчеркнуть, что свойство перформативности не является имманентным свойством каких-либо конкретных глаголов того или иного языка: «любой глагол речи, даже самый обычный из них, глагол *говорить*, способен образовывать перформативное высказывание, если формула *я говорю, что…*, произнесённая в соответствующих условиях, создаёт новую ситуацию. Таково правило функционирования» [Там же: 307]. При этом, вне сомнения, существуют «канонические» [Апресян 1995] перформативные глаголы, которые в зависимости от языка могут быть описаны в более или менее устойчивой таксономии иллокутивных актов.

Так, Ю.Д. Апресян выделяет в русском языке 15 «канонических» групп перформативных глаголов, выражающих лексическую семантику того или иного типа иллокутивного акта [Апресян 1995: 200 – 202]: например, иллокутивный акт *просьбы* выражается такими глаголами как *заклинать, молить, просить, умолять, ходатайствовать, но не упрашивать*; иллокутивный акт *обещания* выражается такими глаголами, как: *гарантировать, давать обет, давать обещание, давать (честное) слово, заверять, зарекаться, клясться, обещать, обязываться, присягать, но не сулить и др*.

Критерий грамматической формы соответствующего глагола также не является однозначным критерием для разграничения перформативных и констативных высказываний. «Каноническая» грамматическая форма употребления глаголов в перформативной функции (форма глагола первого лица единственного числа настоящего времени активного залога индикатива), на

которую указывал Дж. Остин [Остин 2006: 264], не охватывает всех возможных употреблений. Как отмечает Ю.Д. Апресян, грамматическое определение перформативов «нельзя принимать…чересчур буквально и считать, что у перформативов есть только форма первого лица единственного числа настоящего времени (несовершенного вида) активного залога индикатива. Некоторое (небольшое) число перформативных глаголов имеет ещё несколько грамматических форм, но предсказать их наличие у конкретного глагола из общих соображений нельзя» [Апресян 1995: 203 – 204].

По-видимому, не может существовать чётких, заранее заданных формальных признаков, по которым можно было бы определить, является ли данное высказывание перформативным. Главная причина кроется в указанном выше свойстве автореферентности перформативов, в соответствии с которым осуществление речевого акта в определённых условиях есть одновременно производство речевого и социального действий.

Перформативное высказывание, в отличие от констативного, направлено на изменение действительности, поэтому для его осуществления требуется соблюдение определённых конвенциональных условий. На этот качественный критерий разграничения перформативов и констативов указывали следующие исследователи.

Дж. Остин первым назвал рассматриваемые высказывания перформативными, отметив, что в основе их функционирования всегда лежит некая конвенциональная процедура, включающая употребление определенных слов при определенных обстоятельствах: «должна существовать принятая конвенциональная процедура, имеющая определенный конвенциональный эффект (1), и данная процедура должна включать употребление определенных слов при определенных обстоятельствах и далее – определенные лица и обстоятельства должны соответствовать обращению к той процедуре, к которой обращаются в данном случае (2). Процедура должна осуществляться всеми её участниками корректно (3) и полно (4). Если, как это часто бывает, процедура, предназначенная для использования определенными людьми, обладающими

определенными мыслями и чувствами, является началом определенного последовательного этапа в поведении любого из участников, тогда лицо, участвующее в процедуре и, таким образом, обращенное к ней, должно фактически обладать этими мыслями и чувствами, и участники должны иметь определенные намерения применительно к определенному поведению (5), и далее – они должны вести себя последовательно на протяжении всей процедуры (6)» [Остин 1999: 26].

Э. Бенвенист считал, что «когда мы имеем дело с перформативными высказываниями, нам следует постоянно помнить, что…условие правомочности лица, произносящего высказывание, и особых обстоятельств, в которых высказывание осуществляется, – обязательно должно быть соблюдено. Именно в этом, а не в выборе определённых глаголов заключается критерий перформативного высказывания» [Бенвенист 1974: 307].

Рассматривая особенности наделения значением акта декларирования, Дж. Серль указывает, что «владения теми правилами, которые составляют языковую компетенцию говорящего и слушающего, еще недостаточно, вообще говоря, для осуществления акта декларирования. Дополнительно к этому должно существовать *внеязыковое установление*, в котором говорящий и слушающий должны занимать соответствующие социальные положения. Именно при наличии таких установлений, как церковь, закон, частная собственность, государство, и конкретного положения говорящего и слушающего в их рамках, можно, соответственно, отлучать от церкви, назначать на пост, передавать и завещать имущество, объявлять войну» [Сёрль 1986]. По Дж. Сёрлю, каждый тип иллокутивного акта определяется совокупностью правил и условий. Например, Дж. Сёрль выделяет 9 условий искреннего обещания: «(1) нормальный вход и выход, (2) выделение пропозиционального содержания, (3) предицирование будущего акта А говорящему Г, (4) возможное предпочтение слушающим С совершения говорящим Г этого акта А, (5) отсутствие отклонений от нормального хода событий, (6) искренность намерения Г, (7) намерение Г связать себя высказываемым обязательством, (8) намерение Г довести до С своё намерение, (9)

правильное построение высказывания в соответствии с семантическими нормами языка» [Сусов 2006].

По мнению Н.Д. Арутюновой, «перформатив опирается на социальные конвенции или установления, т.е. систему норм…» [Арутюнова 1990].

Соответствие перформативного высказывания этим условиями, обстоятельствам, процедурам или конститутивным правилам описывается в категориях успешности / не успешности. Данные высказывания по причинам, перечисленным выше, не оцениваются на соответствие их содержания объективной действительности, поскольку сами создают эту действительность. Поэтому Дж. Остин приходит к закономерному выводу, что перформативные высказывания не могут быть ни истинными, ни ложными, а оцениваются в иных категориях – успешности и не успешности.

Условия успешности осуществления перформативных высказываний в юридическом дискурсе устанавливаются на различных уровнях правовой коммуникации в соответствующих актах, которые, в свою очередь, также являются перформативными высказываниями. Реализация перформативного высказывания в юридическом дискурсе обусловлена существованием и действием специальных дискурсивных практик (суд, принятие обязательства, вступление в брак и др.), которые имеют характер институциональных прескриптов, то есть «регулятивных сценариев, описывающих характер поведения субъектов права» [Проскурин 2011: 269].

Действие таких прескриптов характеризуется постоянством (так, некоторые принципы имманентно свойственны международно-правовому порядку с древних времён [Общество сетевых структур 2011: 269]) и проявляется в использовании в текстах и в отдельных высказываниях стереотипных формулировок, формул, которые используются участниками юридического дискурса в конкретных речевых актах.

1.1.2.2. Реализация речевых актов в юридическом дискурсе

Любой речевой акт установления или применения права характеризуется ярко выраженным иллокутивным компонентом. Понятие иллокуции, иллокутивного действия-высказывания, как известно, было введено в научный дискурс Дж. Остином, который в своей знаменитой работе «How to do Things with Words» [Остин 1999: 82-83] показал, что речевой акт может быть рассмотрен в трёх перспективах: как фонетический (локутивный) акт (произнесение высказывания), как фатический (иллокутивный) акт (актуализация интенционального аспекта высказывания) и как ретический (перлокутивный) акт (воздействие высказывания на адресата).

Если рассматривать акт правовой коммуникации в ракурсе концепции Дж. Остина, то можно сказать, что в локутивном аспекте такой акт есть как бы засвидетельствованное перформативное высказывание. Как правило, адресат знакомится с актом правовой коммуникации постфактум (исключением является, например, судебный дискурс, участники которого, действуя в устном жанре, обмениваются перформативными высказываниями, одновременно являясь, таким образом, и адресатами и адресантами), то есть после его непосредственного предполагаемого произнесения и написания.

Впоследствии теория речевых актов Дж. Остина была существенно дополнена и развита в работах его последователя Дж. Серля, который предложил иную таксономию иллокутивных актов и ввёл в научный оборот такие понятия, как «иллокутивная функция», «иллокутивная цель», «иллокутивная сила», описывающие различные аспекты функционирования речевых актов.

Цель (point), или смысл (purpose), конкретного типа иллокуции Дж. Серль называл *иллокутивной целью этого типа*: «так, смысл (point), или цель (purpose), приказа может быть охарактеризован как попытка добиться того, чтобы слушающий нечто сделал. Смысл, или цель, описания — в том, чтобы представить (правильно или неправильно, точно или неточно) некоторое положение вещей. Смысл, или цель, обещания — в том, чтобы взять на себя обязательство совершить нечто» [Серль 1999: 172].

При этом Дж. Серль специально отмечает: не каждый иллокутивный акт обладает некоторым перлокутивным намерением, закрепленным за этим актом по определению [Там же: 172], что представляется несомненно верным для всех возможных иллокутивных актов. Однако в отношении иллокутивных актов юридического дискурса применимо обратное утверждение, так как для их успешности необходимым условием является соответствие обязательным языковым и внеязыковым правилам (конститутивным по Дж. Серлю), которые предопределяют целеполагание при реализации того или иного иллокутивного акта.

Ещё одним важным понятием теории речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля является *понятие иллокутивной силы* (illocutionary force). В научный оборот его ввёл Дж. Остин при анализе перформативных высказываний, которые, по его мнению, в отличие от констативов, определяются не с точки зрения категорий истинности / ложности, а с позиции их иллокутивной силы, степени убедительности и успешности. Дж. Серль развил понятие иллокутивной силы, положив его в основу своей таксономии иллокутивных актов. И хотя это понятие не выражено в работах Дж. Серля чётким определением, комплексное представление о нём можно составить, так как автор выделяет составные элементы этого феномена (всего – 12), например такие, как: а) иллокутивная цель; б) различия в направлении приспособления между словами и миром; в) различия в выраженных психологических состояниях; г) различия в энергичности, или в силе, с которой подаётся иллокутивная цель; д) различия в статусе или положении говорящего и слушающего в той мере, в какой это связано с иллокутивной силой высказывания и др. [Серль 1999].

Таким образом, иллокутивная сила есть суть иллокутивного акта, которая воплощается в осуществлении в высказывании той или иной иллокутивной функции. Соответственно, Дж. Серль представлял иллокутивную силу высказывания как иллокутивную функцию от пропозиционального содержания высказывания F (p), где F – показатель иллокутивной силы, а p – пропозициональный показатель [Серль 1999: 171].

Языковые аспекты осуществления иллокутивных функций в актах правотворческой коммуникации.

Иллокутивные функции актов правотворческой коммуникации обусловлены существованием обязательных институциональных правил и предписаний, которые в отечественной научной литературе часто именуются «требованиями права» [Нерсесянц 1999: 483].

Все требования права, по мнению В.С. Нерсесянца, можно разделить на две категории: 1) запрет лицам совершать определённые действия (которые поэтому являются противоправными); 2) предписание лицам совершать определённые действия (которые, соответственно, являются правомерными) при осуществлении ими своих прав и обязанностей [Там же: 483]. Представляется, что для целей настоящего исследования те требования права, которые В.С. Нерсесянц называет «предписания», более целесообразно именовать «предписания обязательного поведения», так как по своей природе любое требование права есть с необходимостью предписание (подробнее об этом см. настоящий подраздел ниже).

Требования права устанавливаются на уровне правотворческой коммуникации и транслируются участникам юридического дискурса на уровне правоприменительной коммуникации. Выраженный в соответствии с условиями той или иной дискурсивной практики коммуникативный акт установления или применения права наделяется адресантом свойством обязательности соблюдения и исполнения содержащихся в этом акте требований для всех его адресатов.

В ракурсе теории Дж. Серля выраженные в официальных юридических текстах (главным образом, в текстах законов) требования права можно рассматривать как иллокутивные функции соответствующих речевых актов. Таким образом, в актах правотворческой коммуникации реализуются иллокутивные функции запрета, предписания (обязательного поведения) и дозволения (осуществление этого типа функции есть следствие наличия и реализации первых двух функций).

В основе осуществления той или иной иллокутивной функции акта правотворческой коммуникации лежит целеполагание на достижение определённого перлокутивного эффекта: осуществление иллокутивными актами функций запрета, предписания (обязательного поведения) и дозволения направлено на достижение соответствующих целей, а именно на соблюдение всеми адресатами запретов, на исполнение всеми адресатами предписаний и на правомерное использование адресатами предоставленных возможностей.

Реализация той или иной иллокутивной функций в акте правотворческой коммуникации выражается:

1) в осуществлении адресантом а) указания на недопустимое поведение; б) указания на единственно возможный вариант поведения; в) прямого или косвенного указания на свободу определения и осуществления своего поведения в некоторых границах;

2) в перлокутивном воздействии этой интенции на адресата (то есть в достижении иллокутивной цели).

Далее рассматриваются некоторые особенности языкового выражения иллокутивных функций запрета, предписания (обязательного поведения) и дозволения в актах правотворческой коммуникации, а также интенциональная структура соответствующих высказываний на материале современных русского, английского, французского и немецкого языков.

В актах правотворческой коммуникации интенция адресанта может быть определена, в общем, как установление границ социального поведения для адресатов; контур этих границ проявляется в языке амбивалентно и описывается в определениях допустимого и не допустимого социального поведения.

1. Интенция адресанта – определение недопустимого поведения; иллокутивная функция (способ достижения коммуникативного намерения) – запрет; актуализация намерения «провести черту» границы допустимого поведения путём определения недопустимого поведения в тексте нормативно-правового акта осуществляется посредством использования конвенциональных

языковых конструкций с эксплицитно выраженной отрицательной модальностью долженствования, или запрета (с помощью глаголов и глагольных конструкций: рус. *не должен, не может, не вправе, не допускается, запрещается* и др.; англ. *shall make no, shall not be, no one shall, be prohibited*, etc.; нем. *niemand darf, darf nicht, darf kein, kann nicht, sind verboten* (например, *suggestivfragen sind verboten* ‘постановка наводящих вопросов запрещена’), фр. *ne peut, nul ne peut, aucun ... ne peut…, n'est recevable*, etc.), например:

1.1) Конституция Российской Федерации 1993 года. Ст. 21 (ч. 2). «***Никто*** *(X_o)* ***не должен*** *подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию (Y)»* [Конституция Российской Федерации] // пропозициональная структура высказывания с модальным значением отрицательного долженствования может быть описана как «не должен p($Y(X_o)$)», где Y – обобщённое обозначение тех действий, которые запрещаются в отношении X_o, X_o – любой человек, в отношении которого запрещается любое действие из класса Y, p – показатель пропозиционального описания ситуаций класса $Y(X_o)$.

1.2) Конституция Российской Федерации 1993 года. Ст. 29 (ч. 2). «***Запрещается*** *пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства (Y)*» [Конституция Российской Федерации] // пропозициональная структура высказывания с модальным значением запрещения может быть описана как «запрещается p(Y(Xs))», где Y – обобщённое обозначение тех действий, которые запрещаются каждому Xs, Xs – субъект (в данном случае субъект присутствует в высказывании имплицитно), которому запрещается осуществление любого действия из класса Y, p – показатель пропозиционального описания ситуаций класса Y(Xs).

1.3) The Constitution of the United States 1787. Amendment 1. «*Congress (X*s*)* ***shall make no*** *law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances (Y)*» [U.S. Constitution] // пропозициональная структура высказывания с

модальным значением отрицательного долженствования может быть описана как «shall not p(Y (Xs))», где Xs – субъект, которому запрещается осуществление любого действия из класса Y, Y – обобщённое обозначение тех действий, которые запрещается совершать субъекту, p – показатель пропозиционального описания ситуаций класса Y(Xs).

1.4) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 1949. Art. 3 (3). ***Niemand*** *(X_o)* ***darf*** *wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden (Y).* ***Niemand*** *(X_o)* ***darf*** *wegen seiner Behinderung benachteiligt werden (Y)* [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland] // пропозициональная структура высказывания с модальным значением отрицательного долженствования может быть описана как «darf nicht p($Y(X_o)$)», где Y – обобщённое обозначение тех действий, которые запрещаются в отношении X_o, X_o – любой человек, в отношении которого запрещается любое действие из класса Y, p – показатель пропозиционального описания ситуаций класса $Y(X_o)$.

1.5) Constitution de la République française 1958. Art. 66-1. ***Nul*** *(X_o)* ***ne peut*** *être condamné à la peine de mort (Y)* [Constitution de la République française] // пропозициональная структура высказывания с модальным значением отрицательного долженствования может быть описана как «ne peut p($Y(X_o)$)», где Y – описание действия, которое запрещается в отношении X_o, X_o – любой человек, в отношении которого запрещается Y, p – показатель пропозиционального описания ситуации $Y(X_o)$.

2. Интенция адресанта – определение единственно возможного варианта социального поведения = определение недопустимости иных вариантов поведения, чем тот, который предписан как единственно допустимый; иллокутивная функция (способ достижения коммуникативного намерения) – предписание обязательного поведения (косвенный запрет осуществления иного социального поведения, чем допустимое); актуализация намерения выделить единственно возможный вариант социального поведения осуществляется

посредством использования конвенциональных языковых конструкций (рус.: *должен / должны + Vinf, обязан / обязаны + Vinf, подлежит, считается* (нап., *считается согласованным, считается заключённым* и т.д.); фр.: *doit / doivent + Vinf, est tenu / sont tenues + de (se) faire qch,* например, Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009. Art 1.I.2°: «*Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes…*» [Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009]; в нем.: *muß / müssen, soll / sollen, etc.*, в англ.: *must (be), shall (be), is required to, etc.*) в актах с эксплицитно или имплицитно выраженной утвердительной модальностью долженствования:

2.1) Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 года. Ст. 1 (п. 3). «*При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей (C) участники гражданских правоотношений (Xs)* ***должны*** *действовать добросовестно (Y)*» [Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть I] // пропозициональная структура высказывания с модальным значением условной (условного) необходимости (долженствования) может быть описана как «если C, должны p(Y(Xs)», где C – условия, при наступлении которых на адресата возлагается обязанность осуществлять только те действия, которые могут быть отнесены к классу Y, Y – обобщённое обозначение тех действий, которые предписываются каждому Xs при наступлении условий C, Xs – обозначение класса субъектов, p – показатель пропозиционального описания ситуации Y(Xs), которая оценивается адресантом при данных условиях по отношению к адресатам как единственно возможная.

2.2) The Constitution of the United States 1787. Art. 4 (1). «*Full Faith and Credit* ***shall be given*** *(Y) in each State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of every other State (X_o)*» [U.S. Constitution] // пропозициональная структура высказывания с модальным значением необходимости (долженствования) может быть описана как «shall be p(Y (X_o))», где X_o – объекты, относительно которых устанавливаются обязательные действия, Y – обобщённое обозначение действий, которые должны осуществляться по отношению к объектам X_o, p – показатель

пропозиционального описания ситуации Y (X_o), которая оценивается адресантом как единственно возможная.

2.3) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 1949. Art. 67 (1). «*Der Bundespräsident (X*s*) muß dem Ersuchen entsprechen ($Y_{1)}$ und den Gewählten ernennen (Y_2)»* // пропозициональная структура высказывания с модальным значением необходимости (долженствования) может быть описана как «muß p($Y_{1,}$ Y_2 (Xs))», где $Y_{1,}$ Y_2 – обозначений действий, которые обязан последовательно совершить Xs, Xs – субъект, обязанный осуществлять предписанные действия, p – показатель пропозиционального описания ситуации $Y_{1,}$ Y_2 (Xs), которая оценивается адресантом как единственно возможная.

В таких декларативных высказываниях как: «*Жилище неприкосновенно*» (Конституции Российской Федерации 1993 года. Ст. 25) [Конституция Российской Федерации]; «*Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut*» (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 1949. Art. 92) [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland]; *«All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside»* (U.S. Constitution 1787. Art. 14 (1)) [U.S. Constitution], несмотря на грамматическую форму констативного суждения, всегда присутствует имплицитная модальность долженствования. В подобных высказываниях не происходит утверждения или отрицания факта, но устанавливается правило, обязательное для исполнения и соблюдения.

3. Интенция адресанта – установление границ, в которых адресатам предоставляется свобода в определении и осуществлении своего поведения; иллокутивная функция (способ достижения коммуникативного намерения) – предоставление адресатам права выбора различных вариантов поведения в определённых границах; актуализация намерения установить границы дозволения осуществляется либо прямо, указанием в соответствующем акте на область дозволенного (3.1), либо косвенно, установлением в соответствующих актах областей предписанного и запрещённого (3.2).

3.1. Так, посредством использования конвенциональных языковых конструкций (например, в рус.: *имеет / имеют право, может / могут, вправе, может иметь право, может самостоятельно осуществлять, разрешается, допускается*; во фр.: *a / ont le droit, peut / peuvent*; в нем.: *kann / können, darf / dürfen, hat / haben das recht*; в англ.: *has / have the right, shall have / has power, may (be), is / are entitled to be* и др.) реализуются акты с эксплицитно выраженной утвердительной модальностью дозволения, например:

3.1.1) высказывание-декларация: «*Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права*» (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 года) [Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I]. Показательно, что статья 10 этого же кодекса именуется «*пределы осуществления прав*», устанавливая, что нарушение гражданами и юридическими лицами установленных пределов есть «*злоупотребление правом*».

3.1.2) Конституция Российской Федерации 1993 года. Ст. 37 (ч.1). «*Каждый (Xs)* ***имеет право*** *свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (Y)*» [Конституция Российской Федерации] // пропозициональная структура высказывания с модальным значением возможности может быть описана как «имеет право p(Y (Xs))», где Xs – субъект, которому предоставляется право свободно осуществлять любые действия из класса Y, Y – обощённое обозначение действий, в отношении которых устанавливается дозволение, p – показатель пропозиционального описания ситуации Y (Xs).

3.1.3) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Art. 8 (1). *Alle Deutschen* ***haben das Recht****, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln* [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland]. Пропозициональная структура высказывания описывается аналогично предыдущему примеру.

3.2. Установление в актах правотворческой коммуникации предписаний и запретов, во многих случаях, есть также определение области дозволенного для

адресатов. Так, например, в сфере частноправовых отношений в романо-германской правовой семье действует принцип: «всё, что прямо не запрещено – разрешено». Впервые он был прямо выражен во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года: Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Art. 5. «*La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas*» [Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789] // Закон имеет право запрещать лишь те действия, которые вредны для общества. Всё, что не запрещено законом, то дозволено (не может быть не дозволено), и никто не может быть принужден делать то, что ему не предписано (законом).

Таким образом, любое юридическое высказывание с функцией предписания или запрета в частноправовой сфере романо-германской и англосаксонской правовых семей – это одновременно и предоставление адресатам права действовать по своему усмотрению с соблюдением установленных предписаниями и запретами границ. С точки зрения формально-логического подхода можно сказать, что «разрешение выполнить действие d означает, что выполнение d не обязательно и не запрещено» [Кириллов, Старченко 2008: 99].

Установленные на правотворческом уровне границы допустимого социально значимого поведения «обретают жизнь» в актах правоприменительного уровня коммуникации. *То есть правоприменительный дискурс детерминирован правотворческим дискурсом*: в последнем устанавливаются и санкционируются институциональные правила (дискурсивные практики) правоприменительной коммуникации, реализация которых в конкретных иллокутивных актах раскрывает описанные выше основные коммуникативные стратегии актов правотворческого дискурса (запрещать, предписывать, дозволять).

Как указывает А.С. Пиголкин, «при применении нормы права используется тот метод воздействия на поведение людей, который заложен в этой норме. Из необходимости такой корреляции вытекает и соответствие характера

предписаний, содержащихся в применяемой части нормы (диспозиции или санкции) и в акте ее применения. Этим объясняется то, что правоприменительные акты, подобно нормам права, можно подразделить по характеру содержащихся в них велений на обязывающие, запрещающие и управомочивающие» [Пиголкин 1985: 80].

Таким образом, в актах правоприменительной коммуникации реализуются три основные функции воздействия на людей, заложенные на уровне правотворческой коммуникации: запреты, дозволения и предписания, которые, в ракурсе теории речевых актов, также можно назвать тремя основными иллокутивными функциями актов правотворческой коммуникации.

Осуществление подробной типизации иллокутивных функций актов правоприменительной и прагматической коммуникаций не представляется возможным в рамках настоящей работы: данная задача напрямую не относится к заявленной теме и ждёт своего отдельного исследования.

Подводя итог теме об осуществлении иллокутивных функций в актах юридического дискурса, стоит отметить, что иллокутивная функция акта правовой коммуникации указывает на характер соответствующего социального действия: так, подписание и опубликование закона = осуществление установления соответствующих обязательных требований для адресатов; произнесение в судебном процессе формулы заявления о приобщении дополнительных доказательств = осуществление заявления о приобщении дополнительных доказательств; подписание должностным лицом приказа о совершении кем-либо определённых действий = осуществление соответствующего приказа и т.д.

Как уже было сказано выше, осуществление иллокутивных функций в актах правовой коммуникации определяется правилами, которые устанавливает, изменяет и поддерживает институциональное (дискурсивное) сообщество. Последним в действующих требованиях права создаётся поле функциональных возможностей участников юридического дискурса, которое в текстах актов правотворческой коммуникации описывается как совокупность стереотипных сценариев поведения адресатов в соответствующих ситуациях. Так как право

онтологически проявляется, главным образом, в сфере языка, постоянное воспроизведение одних и тех же сценариев в юридическом дискурсе приводит к неизбежной клишированности и формульности языковых средств выражения юридических перформативов на уровнях правоприменительной и прагматической коммуникаций.

Однако явление стереотипизации языковых средств, используемых в юридических перформативных высказываниях, присуще в не меньшей степени и правотворческому уровню коммуникации: тексты законов изобилуют такими примерами. Объяснить механизм стереотипизации правотворческого дискурса с чисто функциональной точки зрения вряд ли возможно: законодателям (или «народу», если говорить об Основном законе государства) никто прямо не предписывает сценарии языкового поведения. Естественно предположить, что в основе механизма функционирования юридического дискурса лежат некие цели, которые как раз и определяют характер, набор и содержание соответствующих иллокутивных функций.

Иллокутивные цели юридического дискурса как источник стереотипизации.

Как указывает Н.Д. Арутюнова, «в перформативе язык реализует функцию, близкую к магической (ритуальной), ср. такие акты, как присвоение объектам имён, провозглашение республики и т. п.» [Арутюнова 1990]. Используя терминологию Дж. Серля, можно сказать, что магическая (ритуальная) функция перформативного высказывания проявляется в его направленности на приспособление реальности к словам и в его способности быть уникальным социальным действием, что требует точного соблюдения предписанных ритуальных процедур и правил.

Выше отмечалось, что в юридическом дискурсе фиксируются и осуществляются только социально значимые действия. При этом критерий социальной значимости поведения членов общества – это результат оценки институционального сообщества, которое регулирует осуществление дискурсивных практик. Многие социально значимые действия могут рассматриваться обществом как таковые лишь при условии их осуществления в

строгом соответствии с юридической процедурой: например, такие важные события в жизни человека, как вступление в брак, голосование на выборах, принесение присяги, приобретение недвижимого имущества и др., могут состояться лишь при условии соблюдения всех требований соответствующей дискурсивной практики, контроль за которой осуществляет институциональное сообщество.

Таким образом, иллокутивные цели акта правовой коммуникации обусловлены существованием юридических дискурсивных практик. Даже при заключении договора, когда сами его участники прописывают в нём ту или иную процедуру, они ориентируются на гарантии государства по защите договорных правоотношений, а также на предписанные границы дозволенного при осуществлении этих отношений.

Можно выделить три общих цели, которыми руководствуется субъект при осуществлении перформативных высказываний в юридическом дискурсе:

1) осуществлением социально значимого речевого акта воплотить сказанное в действительность, например:

- в акте объявления войны: ср. известное выражение древнерусского князя Святослава Игоревича *«Хочу на вы идти»*, являвшегося посланием противной стороне перед началом непосредственных военных действий; ср. иллокутивный акт, содержащийся в Манифесте Николая II от 27 января 1904 года о начале войны с Японией: *«…По получении о сем донесения Наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооруженною силою ответить на вызов Японии.* ***Объявляя о таковом решении Нашем****, Мы с непоколебимою верою в помощь Всевышняго и в твердом уповании на единодушную готовность всех верных Наших подданных встать вместе с Нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестныя Наши войска армии и флота»* [Манифест Николая II от 27 января 1904 года];

- или в акте завещания: ср. иллокутивный акт, потенциально содержащийся в типовой формулировке, используемой при составлении завещаний в современном российском юридическом дискурсе: *«Я, гражданин Х, настоящим*

*завещанием **делаю** следующее **распоряжение** на случай своей смерти:…»;* ср. иллокутивный акт, потенциально содержащийся в формулировке, используемой при составлении завещаний в юридическом дискурсе Древнего Рима: «*LVCIVS TITIVS HERES ESTO»* (Gai. II. 250) [GAI INSTITVTIONVM] *// Луций Тиций да будет наследником.*

2) воплотить сказанное в действительность осуществлением социально значимого речевого акта (например, приказа, просьбы, искового заявления и т.д.), направленного на то, чтобы адресат нечто совершил, например:

- в акте просьбы истца к суду удовлетворить заявленные исковые требования: ср. иллокутивный акт, потенциально содержащийся в типовой формулировке искового заявления на примере российского юридического дискурса: *«…**прошу** суд удовлетворить заявленные мной исковые требования в полном объёме…»*; в акте требования истца к ответчику подтвердить или опровергнуть существование задолженности: ср. иллокутивный акт, потенциально содержащийся в формулировке, которая использовалась в легисакционном судебном процессе, имевшем место в Древнем Риме: *«**Требую,** чтобы ты сказал «да» или «нет»* (по словам И.Б. Новицкого, данную предварительную судебную процедуру формальной постановки запроса ответчику с вызовом ответить «да» или «нет» описал известный римский юрист, Гай) [Новицкий 1956: 30];

- или в акте приказа лицу / лицам совершить некоторые действия: ср. иллокутивный акт, содержащийся в формулировке Приказа № 20 Верховного главнокомандующего СССР И.В. Сталина от 1 мая 1945 года: *«**Приказываю:** сегодня, 1 мая, **произвести салют** в столицах Союзных республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишинёве, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двадцатью артиллерийскими залпами»* [Сталин 1946];

или в акте фидеикомисса (лат. fideicommissum, от лат. fides ‘доверие’ и лат. committere ‘вверять’), под которым в древнеримской правовой традиции

понимался «неформальный отказ [легат], первоначально просто просьба [устная или письменная] наследодателя к наследнику [фидуциарию] [heres fiduciarius] выполнить какое-то его пожелание [mandatum post mortem] в пользу третьего лица – фидеокомиссария [fideicommissarius]» [Бартошек 1989: 132]: ср. иллокутивный акт, содержащиеся в предложении *«**ROGO TE**, LVCI TITI, **PETOQVE A TE**, VT CVM PRIMVM POSSIS HEREDITATEM MEAM ADIRE, GAIO SEIO REDDAS RESTITVAS» (Gai. II. 250)* [GAI INSTITVTIONVM] // «**прошу тебя**, Луций Тиций, и **требую** от тебя, чтобы ты, как только будешь в состоянии принять наследство, восстановил и возвратил бы его Гаю Сею» [Дыдынский 1997].

3) воплотить сказанное в действительность осуществлением социального действия (и соответствующего ему речевого акта) – принятием на себя определённого обязательства, например:

- принесение тем или иным должностным лицом присяги (торжественного обещания, клятвы): ср. иллокутивный акт, потенциально содержащийся в текстах присяги Президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки: «***Клянусь** при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу*» [Присяга Президента Российской Федерации]; «***I do solemnly swear** (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States*» [Присяга Президента Соединённых Штатов Америки];

- одновременное принятие на себя коррелирующих и корреспондирующих друг другу обязанностей лицами, подписавшими тот или иной договор либо соглашение; эта одновременность соответствует общности целей участников такого договора: достижение целей каждого из них предполагает, соответственно, осуществление корреспондирующих и коррелирующих действий: так, в соответствии с п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, для

заключения договора купли-продажи товара каждая из сторон этого договора должна явно выразить свою волю, то есть осуществить иллокутивный акт, направленный на принятие на себя соответствующего обязательства: «одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену)» [Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II]; в письменном договоре как бы констатируется одновременное совершение этих коррелирующих друг с другом иллокутивных актов: ср. формулировки, обычно использующиеся в современном российском юридическом дискурсе при оформлении гражданского-правовых договоров между физическими лицами: *«Мы, нижеподписавшиеся, X и У, заключили настоящий договор о нижеследующем:…»*; то же касается и международных договоров: ср. формулировку, содержащуюся в Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года: «Государства-участники настоящей Конвенции…договорились о нижеследующем:…» [Конвенция ООН «О праве международных договоров»];

- принятие на себя одностороннего обязательства при получении в заём денежных средств: в письменной форме осуществление соответствующего иллокутивного акта физическим лицом удостоверяется, как правило, подписанием договора заёмщиком или написанием и подписанием долговой расписки от имени заёмщика: ср. например иллокутивный акт, содержащийся в типовой формулировке долговой расписки, используемой в российском юридическом дискурсе: *«Я, гражданин X, получил от гражданина У денежную сумму в размере Z.* ***Сумму займа обязуюсь вернуть*** *не позднее…».*

Приведённые выше примеры перформативных высказываний и формулировок, несмотря на различия в языковом выражении, независимо от исторического периода своего употребления, достаточно чётко и ясно укладываются в три перечисленные группы. Представляется, что возможность такой категоризации обеспечивается особым характером самого юридического

дискурса, обусловливающим упорядочение пространства социально значимых действий.

Во-первых, если в юридических дискурсивных практиках посредством перформативных высказываний осуществляются социально значимые действия, можно предположить, что существует некий обусловленный (дискурсивными практиками) стереотипный перечень коммуникативных стратегий для достижения целей их осуществления, так как основная функция юридического дискурса – это регулирование социально значимых отношений.

Во-вторых, цель осуществления перформативного высказывания в юридическом дискурсе имеет временную перспективу: настоящее или будущее.

Если цель осуществления перформативного высказывания реализуется одновременно с окончанием его произнесения, или одновременно с подписанием соответствующего документа – совершение социального действия-высказывания является самоцелью (например, намереваясь объявить о войне, верховный главнокомандующий подписывает и опубликовывает соответствующий документ в соответствии с действующими дискурсивными практиками – и если процедура полностью соблюдена, война считается объявленной).

Если цель осуществления перформативного высказывания лежит в будущем, то есть достигается после окончания его произнесения или после подписания соответствующего документа, разумно предположить, что интенция адресанта может реализовываться как в отношении адресата, так и в отношении самого адресанта: в первом случае конечной целью осуществления определённого социального действия (например, приказа) адресантом является совершение адресатом каких-либо ответных социальных действий или воздержание от их совершения (например, осуществление приказа, направленного на проведение салюта в столицах союзных республик предполагает ответные действия определённых адресатов в будущем); во втором случае осуществлением определённого социального действия адресант принимает на себя обязательство осуществить то или иное социальное действие в будущем (или воздерживаться от осуществления тех или иных социальных действий).

Как известно, типизация иллокутивных актов в соответствии с их направленностью на достижение определённых иллокутивных целей была произведена Дж. Сёрлем, который выделяет пять классов речевых актов: репрезентативы, директивы, комиссивы, декларации и экспрессивы. Первый и последний типы речевых актов по определению не обладают свойством перформативности.

Что касается деклараций, директивов и комиссивов, то реализация каждого из них есть осуществление цели соответствующего перформативного высказывания. Так, Дж. Серль указывает, что осуществление какого-либо акта из класса деклараций «устанавливает соответствие между пропозициональным содержанием и реальностью декларации»; «пропозициональное содержание [директивов] всегда состоит в том, что слушающий совершит некоторое будущее действие»; а цель комиссивов - «в том, чтобы возложить на говорящего обязательство…совершить некоторое будущее действие или следовать определенной линии поведения» [Сёрль 1986: 185].

В соответствии с таксономией Дж. Сёрля можно сказать, что в юридическом дискурсе условием достижения целей директивов и комиссивов как иллокутивных актов, ориентированных на будущее время, является осуществление соответствующих деклараций в настоящем времени в соответствии с действующими правилами: так, подписание федерального закона Президентом Российской Федерации есть акт декларации, направленный на установление границ социально значимого поведения адресатов при вступлении адресатов в соответствующие социальные отношения. В то же время вступившие в силу требования закона, как было отмечено выше, реализуются в их соблюдении и исполнении адресатами. Таким образом, можно условно выделить две интенциональные схемы юридических перформативных высказываний, осуществление которых направлено в будущее – это «декларация → директив», либо «декларация → комиссив».

Каждое юридическое перформативное высказывание в своём функциональном аспекте – декларация, но не каждая декларация является

самоцелью для адресанта. На эту функциональную особенность перформативных высказываний указывал ещё Э. Бенвенист: перформативное высказывание «может быть осуществлено только в конкретных обстоятельствах, один и только один раз, в определённое время и в определённом месте (*свойство уникальности* по Э. Бенвенисту). *Его функция – не описание и не предписание, но…осуществление*. Вот почему оно часто сопровождается указанием даты, места, имён лиц, свидетелей и т.п., короче говоря, оно является событием, потому что создаёт событие» [Бенвенист 1974: 308]. В юридическом дискурсе данная особенность, в частности, проявляется в частом употреблении в официальных документах вводной формулы *настоящим (удостоверяется, объявляется…и т.п.)*.

Таким образом, в тексте официального документа происходит как бы свидетельствование обстоятельств совершения события, которое осуществляется здесь и сейчас. При этом, независимо от жанра, ядерным компонентом такого текста является эксплицитный или имплицитный перформатив, раскрывающийся:

- в языковых средствах позиционирования субъекта в этом тексте (ср. языковое позиционирование высшего должностного лица Российской Федерации –Президента Российской Федерации в наименовании соответствующего текста, «Указ Президента Российской Федерации»; языковое позиционирование человека как физического лица в тексте того или иного официального документа: ср. типовую формулировку, используемую в российском юридическом дискурсе при составлении текста завещания: «*Я, Иванов Иван Иванович, чч.мм.гг. (число, месяц, год рождения), место рождения: г. N…, гражданин РФ (паспорт…), проживающий и зарегистрированный по адресу:…, доверяю…»);*

- в обстоятельствах и цели его осуществления;

- в самом акте подписания соответствующего документа его субъектом (субъектами), который, удостоверяет осуществление перформативного высказывания именно своей персоной и именно при этих обстоятельствах.

Сами по себе обстоятельства совершения перформативного высказывания носят объективный характер, поэтому стремление к их фиксации в тексте юридического акта понятно, как в отношении субъекта перформативного

высказывания, заинтересованного в свидетельствовании указанных обстоятельств, так и в отношении дискурсивного сообщества, заинтересованного в стандартизации и регуляции социально значимых действий.

Субъект юридического дискурса, заинтересованный в достижении поставленной цели, должен соблюдать все установленные правила и процедуры: иначе его высказывания-действия будут признаны неуспешными. Его саморепрезентация в юридическом дискурсе предполагает принятие на себя определённой роли, или лица (сегодня роль участника юридического дискурса в романо-германской и англосаксонской правовых семьях выражается использованием родового термина – «лицо»: подробнее об этом см. Главу 3 настоящего исследования) – заявителя, ответчика, истца, продавца, покупателя, президента, доверителя и т.д.

Таким образом, в наши дни проявление субъективности в юридическом дискурсе характеризуется некой сценарностью, ритуальностью, с одной стороны, и формальностью действий, с другой стороны, и это кажется вполне естественным, так как один и тот же сценарий, например, процедура судебного заседания, может оставаться неизменной на протяжении десятилетий. Однако, как отмечает К. Вульф, глубина воздействия таких процедур, сценариев и ритуалов в том, «что они создают впечатление «естественных», и потому скрывают выражающиеся в них общественные иерархии и отношения власти, которые, как и сам ритуал, в принципе изменяемы» [Вульф 2009: 140]. В следующем подразделе настоящего исследования будет рассмотрена изначальная связь юридического дискурса и ритуала в индоевропейской культуре.

1.1.2.3. Ритуал как источник стереотипизации современного юридического дискурса

Современный юридический дискурс – это результат многовекового развития давнего приобретения культуры – права. Современное право (романо-германской и англосаксонской семей) – это, прежде всего, совокупность

санкционированных государством норм, регулирующих социально значимые отношения.

Предполагается, что в основе действия права и его институтов лежат ценности, разделяемые обществом, выраженные в таких понятиях, как «уважение человеческого достоинства», «неприкосновенность личности», «верховенство закона», «формальное равенство», «свобода слова и печати», «свобода совести», «объективность и беспристрастность суда» и др.

Нормы и ценности, лежащие в основе действия права, транслируются институциональным (дискурсивным) сообществом в соответствующих дискурсивных практиках, структурирующих перформативные действия участников юридического дискурса в строго регламентированных процедурах. Как отмечает К. Вульф, ценностные аспекты права воспринимаются «не столько на языковом уровне, сколько развертывают свое воздействие в социальной структуре действий…», причём «в каждой ритуальной инсценировке и представлении они конкретизируются и модифицируются» [Вульф 2009: 131]. Таким образом, важнейшие понятия и идеалы права инсценируются и воспринимаются участниками юридического дискурса в ходе осуществления ими композиций предписанных перформативных действий или ритуалов.

Нормы и ценности, лежащие в основе действия права, объективируются в различных языковых и предметных символах, актуализация которых в соответствующих дискурсивных практиках создаёт ритуальные события. Например, такие ценности, как объективность и беспристрастность судебной власти, объективируются как во внешних атрибутах, создающих пространство суда, так и в сценарных действиях участников судебного процесса, сопровождающих отправление правосудия.

К **внешним атрибутам** (на примере российских судов, осуществляющих производство по уголовным делам) относятся:

а) обстановка помещения, в котором располагается зал судебного заседания, соответствующая отведённым участникам процесса ролям: место председательствующего судьи на возвышении, над его головой размещён

государственный символ – герб (что подчёркивает официальность и важность происходящего), напротив расположена трибуна для свидетелей, за которой находятся скамьи для публики; стороны (государственный обвинитель/обвинители и защитник/защитники) располагаются друг напротив друга, обвиняемый находится в специально отведённой зоне, как правило, огороженной стальной решёткой;

б) облачение судей: специальные мантии чёрного цвета, которые символизируют особый статус того, кто отправляет осуществление правосудия, его объективность и беспристрастность, что коррелирует со специальным обращением к суду и судье (соответственно *«Уважаемый суд»* и *«Ваша честь»*).

Сама процедура судебного заседания носит характер последовательно развивающегося **сценарного действа**, в котором каждый из участников играет отведённую ему роль – подсудимого, защитника, обвинителя, судьи, эксперта, свидетеля, истца, ответчика и т.д., что отражается в формульности и типизации вербальных средств коммуникации в соответствии с отведённой ролью.

Судья является одновременно руководителем и участником судебного ритуала, что обусловливает императивный, конвенциональный, строго официальный и типизированный характер его высказываний. На материале российского и английского судебных дискурсов рассмотрим несколько примеров (материал высказываний английских судей взят из работы Т.В. Дубровской «Речь русских и английских судей как средство организации судебной драмы» [Дубровская 2010]), показывающих языковую репрезентацию роли судьи:

1. Характер обращения судьи к другим участникам процесса:

а) российский дискурс: судья, обращаясь к участникам судебного производства, указывает на их процессуальный статус, тем самым подчёркивая значимость только тех проявлений, которые имеют отношения к делу: ср. *«Подсудимый…»*, *«Сторона защиты…»*, *«Истец…»*, *«Представитель ответчика…»*, *«Свидетель…»*, *«Потерпевшая…»*.

Интересно отметить, что защитник, как правило, обращается к остальным участникам, помимо государственного обвинителя и судьи, по имени и отчеству,

что соответствует распределению ролей в судебном производстве: обвинитель (прокурор) и судья представляют в процессе государственную власть. Таким образом, в речи защитника форма обращения к представителям власти маркируется в отношении формы обращения к другим участникам процесса путём указания на процессуальный статус соответствующего представителя власти. Как будет показано во второй главе настоящего исследования, в основании явления маркированности лежат асимметричные семантические оппозиции, которые отражают представления людей о реальности. В данном случае форма обращения к представителям власти отражает подчинение защитника официальному характеру судебного процесса, воплощающему объективность и беспристрастность; форма обращения к иным участникам судебного процесса отражает сущностную роль стороны защиты – защищать права и законные интересы личности.

б) в английском дискурсе судьёй, как правило, используются нейтральные формы *«Mr»* и *«Mrs/Miss»* без указания на процессуальный статус участника процесса.

2. Характер обращения других участников процесса к судье:

а) *«Уважаемый суд»* и *«Ваша честь»* – российском дискурсе;

б) *«My Lord», «My Lady», «Your Lordships», «Your Honour», «Your Worship»* – в английском дискурсе.

Представленные выше формулы обращения к судье – это вербальная репрезентация его роли как руководителя судебного ритуала. Тем самым подчёркивается подчинённая роль иных участников процесса.

3. Ритуализация (стереотипизация) речи проявляется в широком использовании в дискурсе судьи стандартных речевых формул и перформативных высказываний, которые являются вербальными действиями; последние характеризуются внешней деперсонификацией, что выражается в широком использовании безличных пассивных конструкций:

а) в российском дискурсе: *«Оглашается приговор по делу…», «Приобщается отзыв ответчика по делу…», «Суд удаляется в совещательную*

комнату для принятия решения…», «Суд решил отказать в удовлетворении исковых требований…», «Объявляется перерыв в судебном заседании…» и др.

б) дискурс английских судей: *«It is not normal practice for the addresses of witnesses to be disclosed», «It is not usually done by the witness», «Let the jury be brought back in»*. Хотя дискурс английских судей также характеризуется устойчивой внешней деперсонификацией и имеет соответствующие проявления в грамматической форме высказываний, в некоторых случаях, как указывает Т.В. Дубровская, английские судьи используют перформативную формулу *«I direct»*: *«I direct that a transcript of my sentencing remarks and these remarks to you are to be prepared»*. Возможно, данная особенность может быть объяснена исторически сложившимися более широкими полномочиями судьи в англосаксонской семье права: как известно, в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии судебный прецедент – официально признанный источник права.

Следует отметить, что осуществление судьёй перформативных высказываний характеризуется регламентированной последовательностью в соответствии с указанными в законе стадиями судебного процесса (например, в российском уголовном процессе традиционно выделяют 5 стадий: подготовка к судебному разбирательству, судебное следствие, судебные прения, последнее слово подсудимого, постановление и провозглашение приговора). Грубое нарушение этой последовательности либо неосуществление какого-либо высказывания-действия могут привести к неуспешности всего ритуала: например, в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 389.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, основанием отмены или изменения судебного решения, в любом случае, является «непредоставление подсудимому последнего слова» [Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации]. При этом судья полностью определяет ход судебного заседания: до провозглашения им ритуального (стереотипного) речевого акта ход процесса не может получить последующее развитие. Например, в российском дискурсе фактическая передача защитником письменных доказательств по делу не может быть произведена, пока

судья не задаст ритуальный вопрос: *«Есть ли у сторон какие-либо заявления и (или) ходатайства?»*, а заинтересованная сторона не даст соответствующий ритуальный ответ: *«Да, уважаемый суд»*.

Таким образом, сложность и детальная регламентированность дискурсивных практик, ритуальная значимость некоторых формул (например, рассмотренной формулы обращения), социальная значимость самого судебного процесса, типичность рассматриваемых ситуаций – всё это определяет стереотипизацию речевого поведения судьи в судебном процессе.

Внешняя деперсонификация дискурса судьи отражает характер его публичной роли при исполнении ритуала: от имени санкционирующей его силы (например, в российском дискурсе приговор постановляется и оглашается «*именем Российской Федерации*», в немецком – *«im namen des volkes»* (‘от имени народа’)) беспристрастно и объективно рассматривать судебные дела, руководствуясь при этом только законом.

Нужно отметить, что инсценировка в судебных ритуалах, связанных с рассмотрением конкретных ситуаций, объективированных норм и ценностей, позволяет постоянно воспроизводить в сообществе соответствующие смыслы, тем самым у сообщества формируется стереотипное восприятие последующих аналогичных ситуаций с точки зрения уже усвоенных символов.

Так, Г.Дж. Берман указывает, что идеалы правосудия, инсценированные в судебных ритуалах, воспроизводятся как общие для всех чувства вследствие своего надрационального характера: «В силу своей символизации в судебных, законодательных и других актах идеалы правосудия возникают…не как что-то только полезное и, более того, даже не как идеалы, но как общие для всех чувства: общее для всех чувство прав, общее чувство обязанностей, требование справедливого слушания, стремление к равенству в обращении, возмущение беззаконием и приверженность букве закона» [Берман 1999: 21].

При этом символизация и воспроизводство этих идеалов, ценностей, норм в ритуальных процедурах регулируется существующими дискурсивными практиками, которые контролируются действующими структурами власти. По

мнению К. Вульфа, институциональное моделирование, а также постоянное воспроизводство ритуального социального порядка содействуют тому, чтобы репрезентация мира в соответствии с этим порядком определялась как «реальная» и переживалась как «естественная» и «правильная» [Вульф 2009: 153]. В ритуалах права, в результате инсценирования и воспроизведения стереотипизированных перформативных конструкций, у его участников вырабатывается «перформативное знание», которое формирует их отношение к нормативно упорядоченному миру, к другому и к себе [Вульф 2009: 143].

Сакральный характер особо значимых правовых ритуалов.

В современных романо-германской и англосаксонской правовых семьях существует группа ритуалов (это рассмотренные выше судебные ритуалы, ритуал инаугурации президента, ритуал выборов и др.), которая в перспективе священного и сакрального символизирует ценности и нормы, лежащие в основе базовых конституционно-правовых институтов, таких как права и свободы человека, судебная власть, законодательная власть, президентство, свободные выборы и др. Данные институты, а также лежащие в их основе ценности, в силу своей давней традиции и непрерывной воспроизводимости в юридическом и иных дискурсах, представляются незыблемыми для большей части общества. Таким образом, инсценируя в публичных символических исполнениях разделяемые большинством идеи и ценности, ритуалы, относимые к рассматриваемой группе, создают своеобразные мифы, и потому обладают особой действенностью.

В качестве примера такой сакрализации и мифологизации некоторых современных публичных правовых ритуалов приведём отрывок из описания К. Вульфом процедуры инаугурации президента Соединённых Штатов Америки.

«С помощью молитвы и песнопений, клятвы и обращения с речью, жестов и инсценирований создается и представляется для миллионов зрителей сакральный характер ритуала, возвышающий инаугурацию над будничными делами. В силу интенсивности представления у зрителей на месте и у медиазрителей не остается сомнений в государственной и мировой значимости происходящего события. Воздействие этого транслируемого по всему миру сакрального ритуала

многократно усиливается благодаря его медиальному инсценированию. Без всякого сомнения, ставший здесь явным культ генерируется также медиа и доводится ими до коллективной мифологии» [Вульф 2009: 153 – 154].

По мнению другого исследователя, Н. Рулана, основные ценности современного позитивного права – во многом результат мифологизации. Исследователь выделяет три основных юридических мифа:

- миф индивида и либеральный тотемизм (индивид – неделимое понятие, рассматриваемое через призму категорий личности, свободы, собственности и ответственности: «…то значение, которое придается личности, обусловливает, в конечном счете, официальный принцип, согласно которому индивид может идентифицироваться только сам с собой: один голос равноценен другому голосу, то есть каждый из них абсолютно единичен») [Рулан 2000: 244];

- миф государства («…очевидно, что государство стремится занять место в нашем сознании, ранее принадлежавшее Богу, вплоть до того, что стало возможным говорить о «государственном провидении», как когда-то говорили о «Божественном провидении» [Там же: 245]);

- миф кодексов и законов: «для большинства французов Кодекс является лишь мифическим знаком…: гражданин (неюрист) знает, что кодекс содержит законы, он знает также, что должен подчиняться государству, и Кодекс есть не что иное, как осязаемый символ этого подчинения. Сами по себе нормы Кодекса остаются в целом для него неведомыми» [Там же: 248].

Г.Дж. Берман указывает на то, что в основе современных правовых систем стран Западной Европы и Соединённых Штатов Америки лежит триада ценностей – «индивидуализм, рационализм, национализм», которые автор называет «триединым божеством демократии». **После американской и французской революций конца XVIII – начала XIX вв. «правовые постулаты», которые выражали эти ценности, считались не только полезными, но и справедливыми, и не только справедливыми, но и составляющими часть естественного порядка вселенной»** [Берман 1998: 46-47].

Таким образом, ценностное ядро, вокруг которого группируется современная правовая культура стран романо-германской и англосаксонской правовых семей, разворачивается в официальных государственно-правовых ритуалах путём инсценирования значений различных вербальных и невербальных символов. При этом базовые символы (пожалуй, главным из которых является Конституция) мифологизируются и наделяются сакральным смыслом, что обеспечивает легитимность и непрерывность функционирования соответствующих правовых институтов и структур государственной власти.

Так, текст Конституции в категориях деонтической модальности описывает проект общества, в котором власть справедлива, контролируема, уважаема и является гарантом прав граждан. В иллокутивном аспекте Конституция – это перформативный акт, субъектом которого является народ (ср., например, преамбулу Конституции Российской Федерации: *«Мы, многонациональный народ Российской Федерации…принимаем Конституцию Российской Федерации»* [Конституция Российской Федерации]). Все остальные законодательные и иные нормативно-правовые акты призваны раскрыть текст Конституции в более детальных правовых категориях, терминах и процедурах, порождая метаописания изначальных базовых принципов. Таким образом обеспечивается структура юридического дискурса: каждая дискурсивная практика, которая описывается в законах и иных нормативно-правовых актах, призвана воплотить соответствующие положения Основного закона государства. В результате создаётся и функционирует сетевая структура юридического дискурса, узловой точкой которой является сакрализованный текст Конституции, а основой – ценности, воплощённые в этом тексте. В связи со сказанным ср. высказывание Г.Дж. Бермана: «Подобно религии, право возникает в атмосфере торжества и теряет свою силу, если она исчезает. Между тем, мы говорим, что суд «связан» уставом, законодательная власть «связана» конституцией; и даже сами создатели конституции чувствуют себя «связанными» высшим законом. *Да, они создали конституцию, но создали её не из ничего*» [Берман 1999: 25].

Можно сказать, что юридические дискурсивные практики – это результат интерпретации этих ценностей институциональным (дискурсивным) сообществом. Участвуя в дискурсивных практиках, человек постоянно воспроизводит эту интерпретацию от собственного имени в перформативных актах, тем самым усваивая стереотипные сценарии и правила социальных действий в юридическом дискурсе. Как отмечает К. Вульф, в ритуалах права «сила перформативных процессов через структурирование и конституирование мира и восприятия ведет к эффекту воплощения структур власти» [Вульф 2009: 153].

Через отношение к символам, объективирующим ценности, лежащие в основе права, формируется упорядоченное сообщество граждан, непрерывность которого обеспечивается инсценированием этих ценностей в соответствующих ритуалах. Например, как отмечает Н. Рулан, институт выборов можно интерпретировать как «ритуал, в ходе которого общество демонстрирует свою сплочённость, подчинение меньшинства большинству; в ходе их проявляется также соотношение личности и времени, фактор обновления» [Рулан 2000: 243].

Совокупность действующих в государстве юридических дискурсивных практик – это основанный на определённых ценностях проект социального порядка, соотносимый с именем народа и обеспечиваемый государством; актуальный юридический дискурс, как «ансамбль дискурсивных событий» (в терминологии М. Фуко), представляет собой реализацию этого проекта – *правопорядок*. Грубые нарушения правопорядка расцениваются как угроза всему обществу, за что нарушитель непременно должен понести наказание. Лицо, признанное в результате судебного ритуала преступником, стигматизируется соответствующими органами государственной власти и самим обществом как «общественно опасное лицо» и оценивается как социальный аутсайдер.

Представляется, что в основе такого отношения к преступнику, а также в основе самого судебного ритуала, в результате которого человек, ранее принадлежавший сообществу как один из его полноценных членов, становится «общественно опасным», лежит система мировоззрения, определяемая

культурной оппозицией «Свои vs. Чужие», мотивированной другой более фундаментальной оппозицией «Космос vs. Хаос».

Так, Н. Рулан характеризует мифологизацию уголовного судебного процесса как «переход от беспорядка к порядку»: «В самом деле, любой уголовный процесс начинается с «возврата к хаосу», с напоминания о преступлении с целью его устранения. Зритель невольно ассоциирует себя с обвиняемым и с его помощью снимает с себя бремя собственной «преступности»…Но этот хаос не должен затягиваться. Воскресив его в памяти, участники процесса приступают к делу. Они облачены в мантии, которые отнюдь не являются просто одеждой. Почти целиком скрывая фигуры тех, кто в них облачён, эти одеяния подчеркивают особую роль вершителей уголовного процесса: судья представляет государство и его законы, прокурор является гарантом закона, адвокат выступает от имени права… На завершающем этапе процесса произнесение приговора восстанавливает порушенный порядок; и если обвиняемый признается виновным, то символическое удаление его из зала суда означает исключение из общества с отсылкой в место наказания, где он отныне будет содержаться» [Рулан 2000: 287].

Таким образом, ритуал уголовного судопроизводства мифологизируется в указанных культурных оппозициях как сакральная практика восстановления нарушенного порядка путём исключения из общества нарушителя.

Знаменитый французский исследователь К. Леви-Стросс указывал, что «ритуал соответствует представлениям человека о мире» [Levi-Strauss 1971: 609]. Учитывая сказанное выше, данное утверждение можно распространить и на рассматриваемую здесь правовую реальность, являющуюся составной частью этого «мира».

Раскрываемое в юридических дискурсивных практиках ценностное ядро права инсценируется в осуществлении правовых ритуалов и процедур. Практический опыт участия в них составляет «перформативное знание» (в терминах К. Вульфа), которое определяет языковую картину мира правовой реальности как у участников, так и у интересующихся наблюдателей. Таким

образом создаётся упорядоченное структурированное сообщество законопослушных граждан (не отождествляемое со всем обществом), которые обладают перформативным знанием о возможностях достижения в юридических дискурсе поставленных целей, а также о границах, которые следует соблюдать при осуществлении социально значимого поведения. Тех, кто своими действиями нарушает такой порядок, данное сообщество осуждает и воспринимает как «преступников», «опасных для общества лиц», «врагов», «чужих», нарушивших границы «мира».

В настоящем исследовании утверждается, что в основании данных представлений лежат механизмы стереотипизации, мотивированные культурными оппозициями «Свои vs. Чужие» и «Космос vs. Хаос», имманентно свойственными индоевропейской культуре.

1.1.3. Мотивы и предпосылки появления представлений о правовой реальности в индоевропейской культуре

1.1.3.1. Концептуальная схема корреляции оппозиций «Свои vs. Чужие» и «Космос vs. Хаос» в эпоху «предправа»

1.1.3.1.1. Ритуал как первый «кодекс мира» индоевропейцев

Современное право – это средство, направленное на установление, изменение и поддержание социального порядка. Как было показано выше, большая часть общества, участвуя в юридических дискурсивных практиках, воплощает структуры этого порядка, которые в результате постоянного восприятия символических правовых ценностей осознаются как «правильные» и «естественные». В результате формируется и воспроизводится сообщество, отождествляющее себя с «правильным» миром, граница которого отделяет «порядок» от «беспорядка», «нормальное» от «ненормального», «законное» от «незаконного», «своих» от «чужих».

Описанный механизм поведенческой стереотипизации во многом определяет действие и действенность права в романо-германской и

англосаксонской правовых семьях. Так как право объективируется в языке, можно утверждать, что генезис этого механизма имеет лингвокультурный характер.

Нужно отметить, что значения индоевропейских терминов, обозначающих понятие «право» (рус. *право*, нем. *Recht*, норв. *rett*, англ. *law*, фр. *droit*, итал. *diritto*, исп. *derecho*, греч. *Δικαίωμα* и др.), являются «специфическими для каждого из языков» [Бенвенист 1995: 299]. Поэтому попытка найти общий для индоевропейской культуры лингвокультурный мотив действия права, используя при этом данные этимологии приведённых терминов, является заранее нецелесообразной.

По мнению Э. Бенвениста, значения засвидетельствованных индоевропейских терминов, обозначающих и обозначавших право, являются результатом специализации значений, восходящих к «общеиндоевропейскому состоянию», выраженному в понятии «порядка». Оно представлено скр. *ṛta*-, ир. *arta*, лат. *ars, artus, ritus*, восходящих к и.-е. корню **ar/r* [Бенвенист 1995: 299]. «Таково исходное представление правового, а также религиозного и нравственного сознания индоевропейцев: «порядок», которому подчинены как устройство мира, движение светил, смена времён года и течения лет, так и отношения между богами и людьми и, наконец, сами человеческие отношения. Всё, что касается человека или мира, находится во власти «порядка». Таким образом, это религиозная и нравственная основа всего общества; без этого принципа всё возвратилось бы к хаосу» [Бенвенист 1995: 299].

Как следует из значения многочисленных производных и.-е. корня **ar/r*, ритуал являлся средством достижения соответствия этому «порядку» и, тем самым, «первым кодексом мира индоевропейских народов» [Проскурин 2009: 109].

Интересным примером, показывающим связь правовой терминологии с ритуализацией мира (**ar/r*) в индоевропейской культуре, является др-рус. *рѧдъ*, основное значение – ‘договор’ [Исаев 2001: 94]. Так, в начале Остромировой летописи, названной по имени её автора, новгородского посадника Остромира, описывается приглашение новгородцами князя из варяг для независимого

управления: «*И рѣкоша к себѣ: Поищемъ собѣ князя, иже бы рядилъ по праву и владѣлъ нами*» [Рыбаков 2003]. Очевидно, что, исходя из контекста данного высказывания, выражение «рядити по праву» означало «управлять/править в соответствии с принятыми договорённостями». Или: мирные договоры между Древней Русью и Византией назывались «договоры о мире и ряде», «при этом слово ряд относилось к правовым положениям заключенного соглашения и регулированию вопросов правового характера» [Проскурин 2009; 108].

Таким образом, др-рус. *рѧдъ* употреблялось в некоторых контекстах как чисто правовой термин. С.Г. Проскурин показал, что данное слово и *ритуал, rta, arta* восходят к одному общему корню – и.-е. **ar/r*, что подтверждает связь ритуализации, выраженной в этом корне, «т.е. действия, воплощённого в репрезентации космологического, этического и нравственного понимания мира, с правовой терминологией» [Общество сетевых структур 2011: 248].

Можно предположить, что др-рус. *рѧдъ* является свидетельством некоего переходного этапа в семиотической эволюции означивания права: *от* ***эпохи «предправа»****, выраженного терминами от и.-е. *ar/r, к* ***эпохе права****, «характеризующейся юридическими терминами, специфическими для каждого индоевропейского языка: ПРАВО, Law, Droit с параллельным процессом означивания предправа / порядка как правопорядка»* [Общество сетевых структур 2011: 250].

С.Г. Проскуриным было показано, что древнее право (предправо) складывалось вокруг сакральных мест отправления наиболее значимых ритуалов, каждое из которых в сознании индоевропейских народов концептуализировалось как «центр мира».

1. Древнеиндийские государства: **жертвенный столб (уп̄ра)**, являвшийся местом центрального события царского ритуала Ашвамедха – «жертвоприношения коня»; краткое описание ритуала: «во времена этой церемонии царь пускал на волю специально отобранного коня, а сам следовал за ним с войском целый год. На чью территорию забредал этот конь, с тем царём он должен был сражаться, если противник сам не изъявлял покорности и не

представлял дань. По окончании года коня возвращали в столицу и приносили в жертву» [Общество сетевых структур 2011: 272].

В основе данного ритуала лежит представление о *mandala* (этимология этого термина разбирается ниже), то есть «круге, обычно толкуемом как круг государств», в центре которого находится «государь-завоеватель». Общая суть этой концепции излагается в трактате Каутильи «Артхашастра»: «Совершенный раджа, имеющий совершенные элементы государства, - это ось политического искусства, а именно государь, стремящийся к завоеваниям. Те, что окружают его землю со всех сторон, — враждебная сфера; те, что соседствуют с территорией врагов, — это дружественная сфера» (Ка VI, 2, 13—15); «его соседи являются естественными противниками, а соседи соседей – его естественными союзниками» (Ка VI, 2, 24—27). Также, помимо «государя, стремящегося к завоеваниям», и его врагов, на этой карте мира появляются «более сильные правители, именуемые «срединным» и «нейтральным». Каждый из этих четырех правителей имеет свой круг естественных союзников и дальнейший круг «союзников». В результате может быть образована более сложная схема мандалы из «двенадцати государей» (четыре правителя плюс их союзники и «союзники союзников»)» [Общество сетевых структур 2011: 273 – 274].

Символическое значение ритуала Ашвамедха заключалось в преодолении царём испытания мандалой с целью подтверждения своего права носить титул «чакравартин» («вращающий колесо»: «в стихах, завершающих «Артхашастру», мандала уподобляется колесу. Царь превращает своих соседей в спицы, а их соседей – в обод, сам же, будучи в центре, становится ступицей, благодаря которой вращается колесо» [Там же: 274]). По мнению С.Г. Проскурина, в ритуале представлены две сюжетные линии, которые отражаются в его названии: царь-жертва, который олицетворяется конём (Aśva), и царь-жрец, преодолевающий испытание мандалой (-medha) [Там же: 272 – 273].

Таким образом, ритуал Ашвамедха, в соответствии с концепцией мандалы, санкционировал порядок отношений между государствами относительно центра осуществления царской власти, образованного вокруг жертвенника.

2. Древняя Греция догомеровского периода*:* **«семейный очаг» (*ἑστία*), пританей (др. греч. *πρῠτᾰνεῖον*)**. Словом *πρῠτᾰνεῖον* в древнегреческом языке обозначалось «общественное здание…, служившее местом заседаний пританеев — πρυτάνεις, - посвящённое Гестии, в честь которой в нём поддерживался неугасимый огонь» [Дворецкий 1958].

По мнению Х. Туманса, смысл пританея заключается в том, что в нём «находился главный очаг всей общины. Очаг издревле был священным объектом, почитания восходят, видимо, к арийскому культу огня. Очаг был основой домашней религии греков, он являлся центром семейного культа и поэтому наделялся особой сакральностью…Такое отождествление семьи и общины можно хорошо проследить на материале греческого языка. Ключевое слово πρυτανεῖον (пританей) этимологически часто выступает как синоним слову *ἑστία* (очаг). В свою очередь, ἑστία в широком смысле означает дом, семью, пританей, государство. Данный семантический ряд открывает родство таких важнейших понятий, как очаг, семья, государство. Это значит, что религиозная суть как семьи, так и государства выражалась в очаге, служившем сакральной основой для обоих этих учреждений. Следовательно, греки воспринимали семью и общину (государство) как явления одного порядка, вполне тождественные по их религиозной сути. Для них община была одной большой абстрактно-мистической семьей, связанной родством происхождения, культом и очагом» [Туманс 2002: 143 – 144].

Общность религиозных представлений, лежащих в основе понимания древними греками семейного очага (ἑστία) и пританея, проявляется также и в языковой сфере. Так, по данным И.Х. Дворецкого, значению слова ἑστία присущи такие денотативные компоненты значения, как ‘жертвенник’, ‘алтарь’, ‘святилище’, ‘общий алтарь’ (*служивший местом собраний пританеев*, убежищем для искавших защиты и пр.), при том, что здание, в котором располагался пританий, было посвящено Гестии – богине семейного очага [Дворецкий, 1958].

Как отмечается в научной литературе, первоначально территория Аттики представляла собой «россыпь» таких не связанных друг с другом «очагов». Позднее некоторые из них становятся местными (возможно, религиозными) центрами, «образуя группы поселений — такие, в частности, как Марафонский Тетраполис, Трикомия и т. п. Затем появляется федерация, объединившая местные территориальные образования и отдельные поселения — Кекропово Двенадцатиградие» [Колобов, Гущин, Братухин: 2002]. При этом каждый из двенадцати «городов» сохранял свою автономность и независимость как политическое и территориальное образование.

Объединение Аттики в единый политический союз с центром в Афинах, по преданию, принадлежит легендарному царю Тесею, что символически репрезентировалось в **явлении синойкизма** – предписанного порядка, в соответствии с которым в Аттике ликвидировались все притании местных общин и учреждался один центральный пританей в афинском Акрополе (ср. одно из переносных значений *πρῠτᾰνεῖον* ‘центр, средоточие’ [Дворецкий, 1958, Т.2]).

Примечательно, что слово *συνοικισμός* употреблялось древними греками преимущественно в значении ‘брачное сожительство, супружество’. Такие семантические компоненты этого значения, как «совместность», «единство» и «семейность», в полной мере обнаруживают себя:

- на уровне морфем слова *συνοικισμός*: приставки *συν*-, которая в древнегреческом языке выражает значение ‘совместности действия, соучастия’; корня слова, -*οικ*-, к которому, в частности, восходит глагол *οἰκέω* (‘населять, обитать, жить’);

- в значениях родственной лексики: ср. *συνοικίζω* ‘селить вместе’, ‘вместе заселять’, ‘колонизовать (о городе), ‘основывать’, ‘благоустраивать’, ‘сочетать браком’; *συνοίκησις* ‘брачное сожительство’, ‘община’; *συνοικία* ‘совместная жизнь’; ‘поселение’, ‘община’, ‘общество’, ‘жилище’, ‘дом’.

Учитывая понимание древними греками пританея как некоего ритуального «семейного очага», можно, вслед за Х. Тумансом, предположить, что новое политическое устройство, учреждённое Тесеем, репрезентировалось

в сознании древних как единая «большая семья», состоящая из «малых семей»: «…синойкизм Тесея был не чем иным, как религиозным и символическим учреждением такой государственной «семьи», путём слияния воедино «малых семей» [Туманс 2002: 144].

Количество этих политических «семейных» очагов также имело символическое значение. Так, С.Г. Проскурин отмечает: «объединение государств Древней Греции во времена Тесея в союз двенадцати совпадает по времени с каким-то первичным социальным устроением. В глубинной организации раннего международного союза лежит представление-архетип об особой значимости числа 12. Для многих древних народов это число было символом мировой завершенности, которую внешне выражал годовой цикл. Поскольку понятия «мир» и «год» в мифологическом мышлении сближались, число двенадцать приобрело универсальный характер и стало символизировать мировой и вообще правильный порядок. Именно поэтому у греков было двенадцать олимпийских богов, двенадцать членов амфиктионии, союзы двенадцати городов в Ионии (также в Этрурии) и, что для нас особенно важно, двенадцать царей, а значит и областей в идеальной стране феаков у Гомера» [Общество сетевых структур 2011: 276].

3. Архаическая эпоха Древнего Рима: располагавшийся на вершине Капитолийского холма ***Arx*** ‘крепость’, ‘цитадель’, «римский кремль» (*Arx Romana*). На этом холме находилось освящённое место, используемое жрецами-авгурами для ночных наблюдений за звёздами, называемое *auguraculum* или *auraculum*.

«Это было открытое освященное место, огражденное кольями, копьями, досками и холстом, в центре которого ставилось специальное кресло, что-то вроде царского престола. Отсюда с полуночи и до рассвета авгур вел свои наблюдения за звездным небом, дабы на следующий день доложить сенату и народу о благоприятных или неблагоприятных знамениях для проведения народного собрания, судебных разбирательств, общественных жертвоприношений или иного общеримского мероприятия. Конечно, помимо звезд авгур учитывал и другие

знамения типа полета птиц, ударов молний, комет и т.д., но все же в ночное время, когда птицы спят, удобнее было наблюдать за звездами. О чем же сообщали звезды авгурам и как это связано с авгуральным правом? На это позволяет ответить содержание такого института авгурального права, как templum. Слово это в широком смысле означает всякое освященное и принадлежащее богам место, храм и т.п…По мнению Варрона, в авгуральной науке различалось три вида templum. Первое и основное – это небесный свод, место обитания Юпитера и богов. Второе – это, прежде всего, место наблюдения авгуров за небом и полетом птиц – уже упомянутый auguraculum на Arx, а также всякое освященное место на земле. Наконец, к третьей разновидности относился templum, созданный по подобию небесного под землей» [Кофанов 2001: 83 – 84].

Как было показано Й. Триром, лат. *templus* ‘храм’ является дериватом, образованным с помощью суффикса **1* от лат. *tempus* ‘время’ [Trier 1941: 106]. По мнению С.Г. Проскурина, выявленная германским исследователем модель деривации, подтверждает существование смысловой связи от обозначения времени к обозначениям пространства, которая проявляется как на чисто языковом уровне, так «и на концептуальном уровне, поскольку templum обозначает пространство, очерченное авгуром на небе… В результате весь космос в авгуральном ритуале предстает как упорядоченное вместилище, некое ритуальное пространство, разделенное и созерцаемое. Латинская форма tempare (разделить) обосновывает связь templum с ритуальной дивинацией деления неба на четыре части. Таким образом, небесный храм включал в себя четыре региона, наблюдения за которыми носили календарный характер. По результатам наблюдений совершались сделки и приносились жертвоприношения» [Общество сетевых структур 2011: 279].

Таким образом, в архаичных древнеиндийской, древнегреческой и древнеримской культурах представления о должном социальном порядке были неотделимы от космологизированных представлений о мире, которые инсценировались в тех или иных социально значимых ритуалах. Соответственно, место отправления этих ритуалов концептуализировалось как «центр мира»,

сфера их влияния, определяющаяся культурным ареалом, – как «мир». По мнению С.Г. Проскурина, правовой континуум можно представить «в виде некоторой сетевой упорядоченности с доминирующими центрами, вокруг которых располагаются периферийные области. Идея порядка, закрепленная в древнеиндийском *rta-*, является категорией, отделяющей неизотропное организованное пространство [греч. *κόσμος*] от хаоса» [Проскурин 2009; 107].

1.1.3.1.2. Лингвокультурные предпосылки осмысления правовой реальности в индоевропейской культуре: демаркация концептуальной границы в корреляциях оппозиций «Свои vs. Чужие» / «Космос vs. Хаос»

Порядок и соответствующее ему предправо познаются и воспроизводятся их носителями в ритуалах, в основе которых лежат верования и представления того или иного этноса, народа, концептуализированные в различных космологических мифах. Поэтому можно сказать, что уровень предправа соответствуют мифопоэтическому уровню (форме) мышления, которое репрезентируется в особой модели мира.

Как указывает В.Н. Топоров, «мифопоэтическая модель мира всегда ориентирована на предельную космологизированность сущего…**Модель мира** в соответствующих традициях **предполагает**, прежде всего, **выявление и описание космологизированного modus vivendi и основных параметров вселенной: пространственно-временных** [связь пространства и времени и соответствующие образы единого континуума – небо, год, древо мировое и т.п.; организация пространства и времени с указанием наиболее сакральных и, следовательно, максимально космологизированных точек – центра мира и его абстрактных и конкретных образов, начала во времени, т.е. времени творения, воспроизводимого в главном годовом ритуале, соответственно – сакрально отмеченных точек пространства – «святынь», «священных мест» и времени – «священных дней», «праздников»; средства «космологизации» пространства и времени для борьбы с энтропическими тенденциями «снашивания» мира (ритуал в мифопоэтической Модели мира как раз и ориентирован на «работу» по

освоению хаоса, преобразованию его в космос)], **причинных** (установление общих схем, определяющих всё, что есть в космологиэированной вселенной, и всё, что в ней «становится», возникает, изменяется, т.е. некой меры, которой всё соответствует и которой всё определяется, мирового закона типа rta в Древней Индии, Дике или логоса у древних греков, Маат у древних египтян и т. п.), этических (определение сфер хорошего и плохого, положительного и отрицательного, дозволенного и запрещённого, должного и недолжного и фиксация этих сфер в сводах нравственных установлений и в практическом поведении, создание этических «эталонов» и т. п.), количественных [числовые характеристики вселенной и её отдельных частей, определение сакральных *чисел,* также космологизирующих наиболее важные части вселенной и наиболее ответственные (ключевые) моменты жизни (три, семь, десять, двенадцать, тридцать три и т. п.), и неблагоприятных чисел как образов хаоса, безблагодатности, зла (напр., тринадцать); постулирование абстрактного образа благоприятных и неблагоприятных чисел - чёт и нечет и т.п.], **семантических**, определяющих качественную структуру мира (серии противопоставлений, описывающих мир и организующих его), **персонажных**» [Топоров 1980].

То, что В.Н. Топоров называет причинными параметрами вселенной в мифопоэтической модели мира, и составляет основу предправа в древних индоевропейских культурах. Соответственно, предправо – это «мировой закон», источник которого, как правило, имеет божественное происхождение, и который, в той или иной мере осознаётся каждым носителем той или иной культуры. Поэтому «Мир» в данной модели – это, прежде всего, «свой Мир».

Как указывает Ю.С. Степанов, «Мир» в древнейших культурах индоевропейцев – это то место, где живут люди «моего племени», «моего рода», «мы»; место, хорошо обжитое, хорошо устроенное, где господствует «порядок», «согласие между людьми», «закон»; оно отделяется от того, что вне его, от других мест, вообще – от другого пространства, где живут «чужие», неизвестные, где наши законы не признаются и где, может быть, законов нет вообще, где нам страшно» [Степанов 2005: 86 – 87].

Это представление о «Мире» (если «Мир» понимать именно «как человека и среду в их взаимодействии; в этом смысле мир есть результат переработки информации о среде и о самом человеке» [Топоров 1980: 166]) как о «своём Мире» является, по-видимому, общекультурной константой, характеристикой, в том числе и правовой культуры. Так, Ю.С. Степанов отмечает, что противопоставление «Свои vs. Чужие» «в разных видах пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, национального мироощущения» [Степанов 2004: 126]. «Свой Мир» противопоставляется, а часто и противостоит «чужому», и в этом противопоставлении обретает свои географические, идеологические и этические границы, становится видимым и дискретным.

Таким образом, одной из наиболее устойчивых констант индоевропейской культуры в сфере осмысления внешнего (по отношению к самому человеку) мира является понятие о мире как об огороженном упорядоченном пространстве, в котором живут «свои».

Основной компонент значения и.-е. концепта «Мир» – «мир как огороженное упорядоченное пространство “своих”» последовательно прослеживается на материале различных языков:

1. *Индо-арийские языки*: скр. *lokа́* (муж. р) ‘место, свободное пространство, простор’, ‘край, страна’ (ср. с лат. *lūcus* муж. р. ‘лес, роща’, литов. *laũkas*) [Степанов 2005: 92]; др.-инд. *vrjána* ‘ограда, граница; область; община, население, народ’ [Монич 2001: 199-200].

2. *Древнегреческий язык*: *κόσμος* ‘порядок мира’, ‘построение’, ‘хорошо, красиво устроенное’ от и.-е. **k̂ʰens-* ‘торжественно провозгласить’, ‘предписать’, ‘объявлять’ [Иванов, Гамкрелидзе 1984: 804]; *οἰκουμένη* букв. ‘обитаемая, населённая’, то есть ‘обитаемый мир’, ‘греческий мир’, ‘вселенная’ [Степанов 2005: 92].

3. *Латинский язык*: *mundus* 1) аналогично др.-греч. *κόσμος* ‘мироздание’; 2) «яма для сакральных жертвоприношений», вырытая Ромулом при основании им Рима: по преданию яма была вырыта в том месте, где позднее будет римский

Форум, возле Комиция (место проведения народных собраний), в центре пересечения улиц будущего города. Каждый положил в неё начатки всего, «что считается по закону чистым, по свойствам – необходимым. В заключение каждый бросил туда горсть принесённой с ним с собой с родины земли, которую затем смешали» [Степанов 2005: 94-95]. Далее Ромул с помощью плуга очертил границы города.

Э. Эванджелисти убедительно показал, что лат. mundus связано по происхождению с др.-инд. *mandwdala* ‘шар, магический круг, карта Вселенной’, которое восходит к и.-е. основе **mondo*- [Evangelisti 1969]. Ю.С. Степанов отмечает, что в древнейших представлениях мандала имела вид круга, в который вписан крест, или же круга, поделенного на четыре равные части радиусами. Пересечение этих прямых линий в центре как раз и символизировало сам «центр мира» [Степанов 2005: 95 – 96].

Сходные схемы латинских представлений о мире как об огороженном пространстве явствуют из и.-е. корня **pa-k̂*- // **pag̑*- с первоначальным значением ‘укреплять’различным способом – вбиванием кола, сваи; обнесением забором, оградой; соединением чего-либо [Степанов 2005: 90]. Этот корень в латинском языке получает значения, аналогичные отмеченным ниже производным и.-е **mei*- ‘укреплять’: ср. лат. *pango* ‘вбивать, вколачивать’, но в то же время: ‘устанавливать, определять, обещать’; *pāgus* муж. р. ‘столб’ и отмеченное «столбом», «вехой» место – *pāgus* муж. р. ‘сельская община’ (ср. рус. *міръ* ‘община’); и *pax, pacis* жен.р. ‘мир, мирный договор, отсутствие войны’.

4. *Древнегерманские языки*: общегерманское **midjan-gardas* букв. ‘срединное огороженное место’ или ‘середина огороженного места’; гот. **midjun-gards*, др.-англ. *middan-geard*, др.-исл. *miđ-garđr*, др.-в.-нем. *mitti-gar(t)*: «здесь мир понимается как «пространство, где живут люди, отграниченное от внешнего пространства» [Степанов 2005: 92]. С.Г. Проскурин отмечает, что «среди англосаксонских понятий о внешнем мире наиболее глубокую связь с индоевропейским слоем номинаций обнаруживает лексема *geard* – ‘ограда’, ‘страна’, ‘мир’, которая входит в схему реконструкции индоевропейской

«антропоцентрической» модели мира (и.-е. *g^herd^h = ‘огороженное пространство’). При этом «реконструкция «в горизонтальном срезе предполагает тип отношений «свой» – «чужой» («свой» – в ограде, «чужой» – вне её, ср. др.-англ. *frithgeard* ‘зона мира’, от *freo* ‘свободный’ и *geard* ‘огороженное место’)…ср. *geardlic-mundane* – ‘мировой’ [Проскурин 1990: 15].

5. *Древнерусский и русский язык*: Ю.С. Степанов отмечает, что в древнерусском языке соответствующее понятие концептуализируется как «обжитое пространство» и выражается словом *миръ,* которым также выражается понятие «согласие, покой, отсутствие вражды» (ср. др.-рус. *міръ* ‘община’). Основным семантическим компонентом этого концепта является «место, притом, собственно, не всякое место, а место на земле, вокруг нас» [Степанов 2005: 87 – 89]: от и.-е. корня **mei-* ‘укреплять’, **moi-ro-* ‘деревянная постройка’; др.-рус. *мѣсто* из **mōit-to* в первоначальном значении – ‘укреплённое и освящённое место’ [Pokorny 1959: 709 – 712], [Черных 1993: 526]); чеш. *město* ‘место; исконно огороженное поселение с охраняемыми воротами’, *místo* ‘место, деревня; селение’.

Ментальная граница «Мира» в представлениях древних индоевропейцев совпадала с границей «Своего». Таким образом, культурная константа «Свои vs. Чужие» представляется базовым прескриптом индоевропейской культуры, коррелирующим в исходной точке с основным семантическим компонентом концепта «Мир» («Мир»: огороженное упорядоченное пространство – «Космос» vs. «Хаос»: неорганизованное пространство за пределами границ «Мира»).

Исследования Э. Бенвениста показали, что по данным индоевропейских языков первоначальным семантическим дифференцирующим признаком оппозиции «Свои vs. Чужие» является «кровное родство» группы людей, в которой человек определяется как «свободный» (=«свободный по рождению») в противоположность «чужим», т.е. «другим, врагам, рабам». Первоначальная связь понятия «свой» с семами «свободный», «законнорожденный» (= «происходящий от общего предка») прослеживается на материале индоевропейской лексики:

1. И.е. корень **leudh-* ‘взрасти’: от этого корня происходят лат. *liberi* ‘дети’, «выросшие с теми, кто сам *liber* ‘свободен’; ‘законнорожденные’; *ἐλεύθερος* ‘свободный, вольный, независимый’; рассматриваемый компонент значения более явно выражен: в др.-англ. *lēod* жен. род ‘народ’, муж. род ‘князь, человек’; д.-в.-н. *liut*, совр. нем. *leute* ‘люди’ [Бенвенист 1995: 213 – 214], [Степанов 2005: 724].

2. И.е. корень **sue-//*suo-* характеризуется амбивалентным значением «сам, себя» и «свои». Так, в др.-греч. [Степанов 2005: 136-137]:

- **su̯e-d-* в слове *ἴδιος* ‘свой, собственный, личный, особый’ (ср. *ἴ. πράσσων* ‘действующий по собственной воле, поступающий добровольно’);

- **su̯e-t-* в слове *ἕτης* ‘свойственник, сородич, соратник’;

- **su̯e-dh-* в слове *ἔθος* ‘обычай;

- **su̯e-dh-n-* в слове *ἔθνος* ‘группа людей, живущих вместе (по одним обычаям), народ’.

Важно отметить, что форма **suós* не является местоимением третьего лица единственного числа, но подобно совр. рус. *свой* (что характерно, впрочем, и для других славянских языков) равным образом может быть отнесена к любому лицу (также ср. скр. *sva-*, гот. *swes* ‘свой, частный, личный’). Мотив, лежащий в основе этого древнего значения, по-видимому, объясняется *неотделимостью «себя» от группы «своих»* в сознании человека того времени.

Э. Бенвенист объясняет этот феномен тем, что и.е. *sue- предполагает одновременно «отличие «себя» от всего остального, замыкание в себе и на себя, стремление обособиться от всего, что не есть *sue, и в то же время внутри обособленного таким образом *круга* – тесную связь со всеми, кто к нему принадлежит». Так, например, «…скр. *sva-* означает ‘свой’, но с особым специальным значением, выходящим за рамки значения личного обладания. Sva- называют того, кто принадлежит к той же узкой группе, что и говорящий…В «*Законах XII таблиц*» имеется статья о наследовании: «если какой человек умрёт без завещания, heres *suus* nec escit…и не окажется наследника из своих…Предписание закона имеет в виду такого heres, который был бы в то же время suus: наследство не может уйти от «своих», то есть быть переданным за

пределы узкой группы прямых родственников по нисходящей линии, оно остаётся внутри этой группы» [Бенвенист 1995: 218 – 219].

3.1. И.-е. корень ***pri-, *priyos,*** валлийск. *rhydd,* ‘свободный’ гот. *freis* ‘свободный’, совр. нем. *frei* ‘свободный’, гот. *frijon* ‘любить’. По мнению Э. Бенвениста, соотношение значений «свободный» и «приятный, любить» вызвано одним и тем же мотивом – осознанием членами сообщества своего общего происхождения, принадлежностью к одному роду: «Мы приходим ко всё более определённому заключению, что названия разрядов общественного положения и классов часто связаны с понятиями личного и индивидуального, таким как “рождение”, или терминами дружественных отношений, подобных тем, которые утверждаются между членами узких групп. Эти наименования отделяют членов этих групп от чужестранцев и вообще тех, кто не “(благо)рождён”» [Бенвенист 1995: 137].

3.2. Реконструированная Э. Бенвенистом и.-е. форма ***keiwo-s***, к которой восходят скр. *śeva* ‘благосклонный, дружественный, милый’, *heiwa* ‘семья’, *heiwafrauja* ‘глава семейства’, *ciuis* ‘(со)гражданин’, *ciuitas* ‘совокупность граждан, римская община, город’ [Бенвенист 1995: 220]. По мнению Э. Бенвениста, «в слове ciuis следует видеть имя, которым вначале называли друг друга члены социальной группы, обладавшие правами коренных жителей, в противоположность разного рода иноземцам: hostes, peregrini, aduenae» [Там же: 220 – 221]. Первоначальный мотив такой номинации явствует из смысла ‘дружба’, запечатлённого скр. *śeva*, связанного с проявлением дружеских чувств к членам своей группы, связанных друг с другом родственными отношениями (гот. *heiwa*). С расширением границ круга от группы людей к городу (*ciuitas*) совершается переход к понятию «обладающий теми же политическими правами»: «Когда мы переходим от древнего смысла ‘дружба’, запечатлённого в вед. *śeva-,* к более определённому смыслу ‘группа, связанная брачными отношениями’, который появляется в герм. *heiwa-*, и наконец, к понятию ‘обладающий теми же политическими правами’, которое выражается лат. *ciuis*, мы как бы совершаем

трёхэтапный переход от отдельной группы людей к городу» [Бенвенист 1995: 221].

Таким образом, «свой» изначально концептуализируется в индоевропейской культуре в аффективном, чувственном контексте отношений между членами одного рода. При этом радиус «родственного» круга может варьироваться от группы прямых родственников до народа в целом.

Круг «своих» в форме гражданской общины, политического целого, как известно, представлен в лат. *ciuitas* (букв. ‘совокупность граждан’), которое подчёркивает личностный характер связи людей внутри римского политического сообщества. В др. греч. *πόλις*, с изначальным значением ‘крепость’, эта связь между *πολίτες*, наоборот, отсутствует: здесь прослеживается также демаркационная линия «ограды» «своих» от «чужих». Как отмечает Э. Бенвенист, «отношение, устанавливаемое в латыни между ciuis и ciuitas, обратно тому, которое наблюдается в греческом между pólis ‘город’ polítēs ‘гражданин’» [Бенвенист 1995: 240]. Эта мысль о генезисе понятия «гражданин» в античной традиции подчёркивалась также М.В. Ильиным: «Важно отметить, что латинский лексикоконцепт civis в отличие от греческого polites или русского “гражданин” несет следы дополисной и очень содержательной концептуализации. В ее основе лежит такой смысл, как прочность и личностная сердечность (отнюдь не современная обезличенность) отношений между людьми, входящими в круг своих, т.е. первоначальная свобода приязни и мира...» [Ильин 1995: 240]

4. И.е. корень **gên-//*ĝnē //*ĝnō* ‘производить, создавать, рожать, рождаться’. Э. Бенвенист отмечает, что реконструируемые из и.-е. **gen, авест. zantu*, лат. gens, гр. *γένος* (*γένει πολίτης* ‘природный гражданин’; *οἱ ἐν γένει* ‘родные, родственники’ // *οἱ ἔξω γένους* ‘чужие’, букв. ‘находящиеся вне рода’) по своему первоначальному смыслу обозначают «рождение не просто как естественный факт, а как факт социальный…В обществе, социальная организация которого носит классовый характер, рождение является условием, определяющим статус личности. Необходимы термины, которые, называя это условие, характеризовали бы это рождение как законное, в результате чего соответствующее лицо обладает

всей полнотой прав. Впрочем, эта законность рождения относится прежде всего к мужчинам; именно к ним относятся собирательные существительные, производные от корня *gen- и обозначающие группу мужчин, которые признают наличие у них общего предка по мужской линии» [Бенвенист 1995: 209]. За пределами этого родового круга свободному человеку, принадлежащему к данной группе людей по своему рождению, противопоставляется рождённый вне этой группы.

Э. Бенвенист отмечает, что в древности не существовало абстрактного понятия «чужой», «чужого» самого по себе. В понятиях, обозначавших людей, находившихся за пределами круга рождённых свободными (лат. *ingenuus*), «чужой» (др. греч. *ξένος*) предстаёт как конкретный представитель «не своих», характеризуемый и называемый соответствующим термином в зависимости от социального положения и отношения к «своим».

Следует отметить, что «чужой», в своей исходной точке, «обязательно враг и, в корреляции к этому, враг – обязательно чужой, чужестранец» [Бенвенист 1995: 236]. С чужаками, или потенциальными врагами, как известно, можно быть в отношениях господства-подчинения – как результат войны (1), в отношениях мира и доброжелательности (2), в нейтральном отношении:

1) *«Раб»:* бесправное положение раба как находящегося вне общины, вне государства является причиной того, что «единого обозначения понятия раба нет ни в индоевропейской семье в целом, ни даже в некоторых диалектных группах». В силу этого имя раба в индоевропейской культуре изначально мотивировалось названием местности или народа, племени, к которому принадлежал попавший в рабство человек, либо чисто отрицательным определением [Бенвенист 1995: 233 – 236]. Ср.:

- лат. *seruus* ‘раб’, возводимое Э. Бенвенистом к этрус. форме *serui, serue-*, от которой образованы латинские имена этрусского происхождения: *Seruenius, Seruena, Seruoleni*;

- греч. визант. форма *Σκλαβοί*, юж.-слав. *slaves*, совр. фр. *esclave* ‘раб’, совр. итал. *schiavo* ‘раб’; совр. англ. *slave* ‘раб’, совр. нем *sklave* ‘раб’;

- прозвища рабов: Фригиец, Ликиец, Лидиец, Самосец и т.д;

- др.-англ. *wealh* ‘кельт’, ‘раб’;

- ср. иран. *arya* (самоназвание народа) – *anārya* (‘не arya’); в индийских языках *ārya* противопоставляется *dāsa* ‘чужеземец, раб, враг’, термину иранского происхождения.

2) *«Враг», «Гость»*: в индоиранском ареале, как видно из приведённых выше данных, враг (*dāsa*) – любой, кто оказывается за пределами границы круга общины (*arya*). В лат. *hostis* ‘враг’ (ср. гот. *gasts* ‘враг’) существует наряду с обозначением других понятий, выражающих представления о чужаках: *seruus* ‘раб’ и *hospis* ‘гость’, *peregrinus* (*peregre* (*per+ager*)) букв. ‘тот, кто находится за пределами родной страны’), *aduena* ‘тот, кто приходит извне’. В др.-греч.: *πολέμιος* ‘враг’; слово *ξένος* ‘чужой, чужестранец, неэллин’, которое во многом, по значению соответствует лат. *hospes*.

Важно отметить, что древнейшее значение как лат. hostis, так и др.- греч. ξένος отличалось от того, которое представлено, соответственно, в классической латыни и древнегреческом языке послегомеровского периода.

Это древнее значение, применительно к hostis, фиксируется у Феста: *eius enim generis ab antiquishostes appellabantur quod erant pari iure cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare* // «ведь (людей) этого происхождения издавна называли hostes, потому что они имели те же права, что и римский народ, и слово hostire употребляли вместо aequare» [Бенвенист 1995: 77]. Э. Бенвенист, исходя из тесной смысловой связи hostis с глаголом *hostire* ‘уравнивать, благодарить, воздавать, возмещать’, реконструирует значение данного слова как ‘тот, кто находится с кем-либо в отношениях взаимных обязательств’.

В древнегреческом языке фиксируется существование аналогичного института**:** ξένος – это ‘чужестранец, с которым заключено соглашение гостеприимства’ (*ξενία* ‘гостеприимство’ *ξένιος* ‘связанный узами взаимного гостеприимства’ [Дворецкий 1958]): «Xenía (ξενία), находясь под защитой Зевса Ксениоса, предполагает обмен дарами между договаривающимися сторонами, которые заявляют о своем намерении распространить заключенное соглашение и

на свое потомство. Так поступали и цари, и частные лица: *ξενίην συνεθήκατο* (глагол, означающий договор) *πέμπων δῶρα καί δεκόμενος αλλα παρ ἐκείνου* «заключил союз гостеприимства (с Амосисом), обменявшись дарами (букв. послав дары и в свою очередь получив их от него) (Геродот III, 39)» [Бенвенист 1995: 79].

Таким образом, в архаичных древнегреческой и древнеримской культурах существовали договорные институты, с помощью которых обеспечивалось взаимодействие между различными «Мирами». Появление международных договоров позволяло переориентировать взаимодействие с модели «Свои vs. Чужие», в основе которой лежат мировоззренческие противопоставления, на прагматическую модель договора, в основе которой лежат определённые общие цели сторон договора. Институт договора позволял представителям различных миров выработать условия, на которых они могли взаимодействовать друг с другом. В результате происходило формальное включение прежде «чужих» в круг «своих» со стороны принимающей общины.

О существовании в представлениях носителей античной культуры смысла «условное включение в пространство «своих», применительно к институту договора, можно утверждать, основываясь, в частности, на сведениях о значениях латинских дериватов отмеченного выше и.-е. корня **pa-k̂-* // **pag̑-:* с одной стороны, *pāgus* в денотативном значении ‘столб’ (инструмент и символ); с другой стороны – место, отмеченное таким столбом: *pāgus* муж. р. ‘сельская община’, с третьей стороны *pax, pacis* жен.р. ‘мир, мирный договор, отсутствие войны’ [Степанов 2005: 90].

Связь между смыслами «мир», «договор», «отсутствие войны» и «место, на котором располагается община» ясно представлена в появившемся в эпоху принципата выражении *Pax Romāna,* обозначавшем «укреплённый» и «ограждённый» римлянами мир с соседними покорёнными народами посредством заключения с ними договоров. За пределами этого договорного мира, *Pax* – только *hostes* ‘враги’. Для ставшего единым политическим целым гражданского общества Древнего Рима граница «своего» мира, где имевшие ранее значение

родовые связи постепенно отмирают, очерчивает контур круга, в котором находятся все граждане Римской империи. Как отмечает Э. Бенвенист, «когда древнее общество превращается в нацию, отношения, устанавливаемые между отдельными людьми и родами, отмирают; остается лишь различение между тем, что является внутренним, и тем, что является внешним по отношению к ciuitas, гражданскому обществу» [Бенвенист 1995: 79].

По-видимому, и сам «Мир» в представлениях древних индоевропейцев осознавался как пространство порядка именно в силу следования договорённостям и правилам, предписанным какой-либо сакральной силой, персонифицированной тем или иным божеством. Особое место среди таких божеств исследователи древних культур отводят древнеиндийскому Ми́тре. Бог Ми́тра (авест. Ми́фра), согласно древней индийской и иранской мифологии, был богом мира, дружбы и солнца, следящим за исполнением договоров между людьми и дарующим, в случае исполнения стороной договорных обязательств, покровительство в виде охраны границ «своей» земли.

По мнению Ю.С. Степанова, культ Митры составлял ядро концепта «мир» в его древнейшем виде (из и.-е. **mei-* ‘укреплять’ древнеиндийских форм *minóti* ‘укреплять’, затем – *mináti* ‘обменивает’ и далее – *mináti* ‘заключает договор’ (ср. с лат. *munus* ‘обязанность, долг, служба’, ‘дар, милость’; *immunis, communis*)). [Степанов 2005: 90]. А. Мейе определяет Ми́тру как сакрализацию социального становления, как олицетворение договора [Meillet 1907]. Э. Бенвенист отмечает, что имя этого бога «образовано от корня **mei-* в его редуцированной форме с помощью суффикса *-tra-*; этот аффикс обычно образует имена среднего рода, обозначающие орудия. В ведийском языке слово *mitra-* может быть двух родов; в мужском роде это — наименование божества, в среднем роде оно имеет значение «дружба, договор» [Бенвенист 1995: 81].

1.1.3.1.3. Репрезентация «Мира» как ритуализованного расчерченного пространства в древнегреческой концепте νόμος и древнеримском ритуале regere fines

Приведённые в предыдущем разделе работы данные позволяют говорить о том, что в представлениях древних индоевропейцев «Мир» имел «центр», в котором локализовывалось сакральное место отправления обрядов и ритуалов, поддерживающих соответствие сообщества предписанному богами порядку, и периферийные области, на которые распространялось влияние центра. Очевидно, что расширение территории этого «Мира» не являлось для древних индоевропейцев простым фактом занятия и обживания земли: для включения этих земель в границы «Мира» они должны были соответствовать «порядку», а следовательно, на месте нового поселения должны были быть проведены ритуалы и обряды, которые бы обеспечили это соответствие. Рассмотрим некоторые из них.

Древнегреческий концепт νόμος: ритуализация акта захвата земель.

По мнению К. Шмитта, одним из конституирующих принципов права народов является прескрипт «брать – делить – пастись», который наиболее полно выражается в древнегреческом концепте права *νόμος* ‘обычай’, ‘установление’, ‘законоположение’, ‘закон’. К. Шмитт отмечает, что понятие «номос» изначально связывалось с актом захвата земли: «Νόμος же происходит от глагола *νέμειν*, означающего как разделять, так и пасти. Поэтому номос – это тот непосредственный образ, который делает пространственно зримым политический и социальный порядок того или иного народа, первое измерение и размежевание пастбища, т.е. захват земли и заключенный в нем, вытекающий из него конкретный порядок; говоря словами Канта: «закон распределения того, что находится на земле, на мое и твое» [....] «Номос – это мера, в соответствии с определенным порядком делящая поверхность Земли и ее локализующая, а также заданная этой мерой форма политического, социального и религиозного порядка. В акте захвата земли, в основании города, колонии становится зримым тот номос, руководствуясь которым делается оседлым, т.е. привязывается к определенной

местности тот или иной народ, племя или отдельная группа, а определенный участок земли становится своего рода силовым полем устанавливающего порядка» [Шмитт 2008: 52].

Следует отметить, что с филологической точки зрения в концепции К. Шмитта имеет место неправильная трактовка др.-греч. глагола νέμειν, который, будучи созвучным немецкому *nehmen*, по-видимому, был истолкован исследователем в значении «брать». Как отмечает Э. Бенвенист, глагол νέμο, в отличие от других глаголов греческого языка со значением ‘делить’, имеет значение ‘делить согласно обычаю или закону’. По этой причине пастбище, отведённое в соответствии с обычным правом, получает наименование νομός. Значение слова νόμος ‘закон’ сводится к значению ‘наделение по закону’ [Бенвенист 1995: 72]. По мнению С.Г. Проскурина, в концепте νόμος «имеет место сближение смыслов «наделять по закону» и «делить», а не «взятие», т.е. значение, принятое немецким юристом в качестве исходного пункта для определения конституирующего принципа международного права, является ложным с позиции филологии» [Проскурин 2009: 104].

Таким образом, в концепте νόμος закреплено значение, определяющее, что расширение границ «Мира» с необходимостью должно было сопровождаться исполнением соответствующих ритуалов, в которых репрезентировалось соответствие произошедшего захвата земель «порядку»: «на деле, в древнем праве происходила *ритуализация* захвата земель, придававшая смысл акту приобретения земли как чему-то сходному с древнегреческим концептом «быть наделённым по закону» [Там же: 105].

Ритуализация основания города на примере древнеримского акта regere fines.

Ещё одной разновидностью ритуалов расширения границ «Мира» в индоевропейской культуре был сакральный акт основания города. Несомненно, наиболее ярким примером такого акта является основание Ромулом Древнего Рима: как известно, братья Ромул и Рем, «решив основать город в местах своего детства…покинули Альбу и обратились за советом к богам. Каждый выбрал себе

отдельный холм: Ромул – Палатин, а Рем – Авентин. Рем первым увидел в небе шесть летящих коршунов – авгурово знамение. Ромулу же явилось в два раза больше птиц, он выиграл у брата право основать город и провел плугом борозду вокруг Палатинского холма: отвальная земля стала для него городской стеной, борозда обозначила ров *вокруг* города, а вынутый из земли плуг изображал будущие городские ворота. Смеясь над выдумкой брата, Рем одним прыжком преодолел и «стену» и «ров». Рассерженный Ромул кинулся на брата и уложил его на месте с криком: «Так я покараю всякого, кто перепрыгнет мои стены!» [Элиаде 2002: 94]. По мнению М. Элиаде, параллели существования подобных ритуалов основания города с помощью плуга *(sulcus primigenius)* можно легко найти в других культурах: «…соответственно, вражеский город ритуально ровняли с землей и проводили вокруг руин борозду. Во многих традициях основание города было возрождением мифа о сотворении мира. Жертва – Рем является вариантом такой же первичной космогонической жертвы, как и Пуруша, Имир, Паньгу. Принесенный в жертву посреди Рима, Рем обеспечивает счастливое будущее Города, т.е. рождение римского народа и восшествие Ромула на престол» [Элиаде 2002: 94]. При этом центром получившейся таким образом фигуры стала уже упомянутая жертвенная яма ‘mundus’.

Вскоре после основания Рима его палатинская часть (часть территории вокруг Палатинского холма, отделенная сакральной границей (лат. *pomerium)* из пограничных камней – *cippi*) стала священной. Часть города в пределах этих границ именовалась ‘*Roma quadrata*’. Как свидетельствует Дионисий Галикарнасский, это наименование связано с формой фигуры, границы которой были очерчены Ромулом при основании города: «…Когда Ромул решил, что все, что было угодно богам, уже исполнено, он созывает весь народ в намеченное место и плугом прочерчивает на холме четырехугольник, проводя с помощью быка, сопряженного с телкой, длинную борозду, на которой была воздвигнута стена. С того времени у римлян сохраняется этот обычай пропахивания борозды вокруг места, на котором будет основан город. Закончив это и принеся в жертву

обоих животных, а также совершив многие другие жертвоприношения, он приставляет людей к работам» [Коптев 2011: 47].

Мотив именования Рима ‘*Roma quadrata*’ также может быть связан с первоначальным делением города на четыре района, или трибы. Некоторые исследователи такое именование связывают с перенесением или проекцией на землю авгуральной конструкции организации небесного пространства, воплощённой в уже упомянутом концепте *templum*, «четыре четверти которого назывались регионами (*regiones*) от *regio* ‘начертать, разрезать’. Слово *regiones*, в контексте авгурии, имело исходное значение пересекающихся линий, которые упорядочивали пространство и отделяли его от внешнего мира. Впоследствии это слово стало обозначать части пространства, которые были связаны этими пересекавшимися линиями. Эти регионы явно ассоциируются с четырьмя городскими трибами, учреждение которых римская традиция приписывала царю Сервию Туллию» [Коптев 2011: 52].

Так или иначе, учитывая, что одним из основных значений *templum* является ‘освящённое место’, ‘место для ауспиций’, можно сделать вывод о том, что в древности основание римлянами города осуществлялось посредством ритуального акта очерчивания его будущих границ. Это сакральное действие, по данным Э. Бенвениста, выражалось *лат. regere fines ‘проложить границы в виде прямых линий’*, что соответствует предполагаемому мотиву именования Рима – «*Roma quadrata*» (лат. *quadro* ‘делать четырёхугольным’, ‘подгонять, прилаживать’, ‘приводить в порядок’, ‘годиться, подходить’). Субъектом *regere fines*, по-видимому, был верховный жрец – *rēx*, который перед началом строительства нового города или храма «определял на местности границы священного участка» [Бенвенист 1995: 252].

Э. Бенвенист отмечает, что во многих индоевропейских языках лексемы, которые применялись для обозначений публичных лиц, осуществлявших одновременно религиозные и властные (светские) функции, характеризуются генетическим родством и восходят к и.-е. корню **rēg-* ‘резать, проводить линию, очерчивать’ (ср. скр. *rāj-*, *rēx*, ирл. *ri-*, *-rix*). К этому же корню восходят др.-греч.

глагол *ὀρέγω* ‘протягивать, устремляться’, ‘простираться по прямой’ и лат. глагол *regere*, характеризующий функции *rēx*; а также существительное *regula*, которое в ритуально-правовом контексте актуализировало своё изначально денотативное значение ‘инструмент для проведения прямой линии, линейка’ в переносном смысле как «инструмент создания и поддержания порядка» – «правило». С появлением и развитием классического римского права употребление рассматриваемого термина (regula) связывается с юридическим дискурсом, который во многом уже был отделён от религиозных ритуалов прошлого: ср. выражение *regula iuris* ‘норма права’ (букв. ‘правовая линейка’); употребление лат. *regulae* в значении ‘сборники юридических правил’, являющиеся обобщением юридической практики. Исходя из представленных примеров видно, что лат. *regula*, будучи изначально словом с ярко выраженной денотативной семантикой, стало употребляться применительно к социальным явлениям, что обеспечило возможность для семантического перехода «прямой – правильный». Современные термины романской и германских групп языков, обозначающие ‘правило’, ‘норму’, ‘предписание’ (ср. совр. фр. *règle* ‘норма’, исп. *regla* ‘порядок, правило’, итал. *regola* ‘правило’, нем. *regel* ‘правило’, англ. *regulation* ‘упорядочение, предписание, правило’), восходят к лат. *regula*, что позволяет говорить об исторической концептуальной связи между «прямым» и «правильным» в юридическом дискурсе.

Тот же семантический переход, что и в лат. *regula*, обнаруживается в лат. *norma*, которое изначально употреблялось в строительной сфере для обозначения линейки-наугольника, а затем, абстрагировавшись до признакового имени ‘правило, образец’, стало широко применяться при обозначении соответствующих свойств и качеств в социальной сфере: ср. *nec sunt haec rhythmicorum aut musicorum acerrima norma dirigenda* // а что касается ритмических или музыкальных правил, они не являются самыми строгими; *Catoni uitam ad certam rationis normam derigenti* // жизнь Катона строилась согласно строгим правилам [Oxford Latin Dictionary 1968: 1189]. Этот же семантический переход обнаруживается и в др.-греч. *γνώμων* ‘стрелка солнечных часов’, ‘солнечные

часы угольник’, ‘линейка норма’, ‘правило’, ‘(*в Афинах*) смотритель’, ‘инспектор, ревизор’.

Возвращаясь к выражению regere fines, отметим, что одним из основных употреблений лат. глагола rego было ‘править, управлять, руководить’. Если предположить существование в семантике этого слова отмеченную выше связь между «прямым» и «правильным», то у слова rego проявляются также коннотации, связанные с моралью и нравственностью. Именно это и является, по мнению Э. Бенвениста, «ключом» к пониманию лат. *rex*: «regula — это, собственно, ‘инструмент для проведения прямой линии, линейка’, то, что задает соразмерность, масштаб, критерий. Прямое в системе понятий нравственности противопоставлено искривленному, кривому, и, так как прямое отождествляется со справедливостью и достоинством, противоположное ему кривое отождествляется с обманом, ложью и т. п.». Поэтому определение границ будущего города regere fines – это не просто физическое размежевание внешнего пространства, но сакральное отделение и упорядочение пространства «своих». «Магический характер такого действия очевиден: речь идет об отделении внешнего от внутреннего, священного царства от царства профанного, своей земли от чужой…Прокладывает же границы лицо, наделенное самой высшей властью, — царь, rex…» [Бенвенист 1995: 252].

Таким образом, *rex*, устанавливая и применяя *regulae*, как бы вычерчивает прямые линии, отграничивающие пространство «своих», космос, от пространств других миров (хаоса) как по горизонтали, так и по вертикали. «Индоевропейское rex — понятие более религиозное, чем политическое. Обязанности rex не повелевать и не вершить власть, а устанавливать правила и определять то, что относится к «праву» в прямом смысле этого слова. Определенный таким образом, rex оказывается значительно ближе к жрецу, чем к самодержцу. Царская власть такого рода сохранялась, с одной стороны, у италийцев и кельтов, с другой — в Древней Индии» [Там же: 252].

Наблюдение Э. Бенвениста о том, что в индоевропейской традиции ментальная граница пространства «своего» мира прокладывается верховным

жрецом, светская власть которого неотделима от духовной, в ритуалах установления правовых предписаний согласуется с наблюдениями других исследователей о неотделимости в представлениях индоевропейцев права от ритуалов и обрядов.

Общеевропейская правовая терминология смыкается с обрядовой терминологией, что указывает на невычленённость правового института из ритуально-обрядовых представлений, которыми и определялись правовые нормы древних индоевропейцев. Правовые нормы этого общества – это часть целой системы социальных установлений, контролируемых «жречеством», которое объединяло в себе все функции духовной деятельности и регулирования основных социальных норм:

И.-е. «***ieuo-** ‘установление’, ‘ритуальное правило’, ‘ритуальная норма’: др.-инд. *yóh* ‘здравие, благополучие’ (в сочетании с *sám yóh* ‘счастье и здоровье’), авест. *yaoždā-* ‘сделать соответствующим культовой норме’ (из **yaoš* +**da-* ‘класть’), *yaoždāti-* ‘ритуальное очищение’…; ст.-лат. *ious* (лат. *iūs*, род. п. *iūris*) ‘право’, ‘система правил’, ‘власть’, *iūstus* (*iouestōd*) ‘справедливый’, ‘законный’, ‘сообразный с законом’, *iūrō* ‘произношу клятву’; др.-ирл. *huisse* ‘справедливый’, ‘законный’…» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 805-806].

И.-е. «***t’eḭk̂ʰ-** ‘предначертание’, ‘указание’, ‘направление’, ‘закон’: хет. *tekkuššai-* ‘указывать’, ‘представлять’…, *tekkuššanu-* ‘указывать', ‘обнаружить’, ‘представить’…, др.-инд. *disáti* ‘показывает’, ‘указывает’, *disti-h* ‘указание’, ‘предписание’, *disā* ‘направление’; греч. *δειχνῡμι* ‘показываю’, ‘указываю’ (ср. хет. *tekkušša-nu-*), *δικε* ‘право’, ‘знак’, ‘знамение’ (бога)…, *δικασ-πόλος* ‘творящий суд’, ‘судья’, *δίχαιος* ‘справедливый’, ‘приличествующий’; лат. *dĭcāre* ‘торжественно возвещать’, ‘посвящать’, ‘освящать’, ‘жертвовать’ *iūdex* (словосложение из **i̯eu̯-t* + **dei̯k-* в значении ‘указывающий закон, предписания’) ‘судья’; гот. *ga-teihan* ‘показывать’, ‘объявлять’ (ср. *taikns* ‘знак’, ‘знамение’, ‘чудо’; др.-в.-нем. *zeihhan* ‘знак’; нем. *Zeichen*; др.-англ. *tǣcan* ‘учить’ (англ. *teach*); др.-в.-нем. *zeigōn* ‘указывать’ (нем. *zeigen*)» [Там же: 806].

1.1.4. Право как результат ритуально-речевой деятельности: лингвокультурные основания концепта ius

Таким образом, в индоевропейской культуре описанная выше идея упорядоченности (ср. законности), рациональности мира коррелирует с идей существования сакральных правил, которые обеспечивают и поддерживают мировой порядок. Эти правила, будучи познанными жрецами, должны чётко и безоговорочно выполняться членами социума посредством исполнения ритуала, в противном случае соответствующий объект (предмет или лицо), который репрезентируется в ритуале, будет восприниматься как не соответствующий миропорядку, а следовательно, неблагополучный, недейственный.

Связь ритуальных практик и глубинного значения правовой терминологии наиболее последовательно и полно представлена в древнеримском концепте *ius*. Именно в Древнем Риме право как система социальных норм обрело один из своих главных признаков – формальную определенность и независимость от других социальных систем, главным образом религии.

По мнению Э. Бенвениста, ту же форму, что и лат. *ius*, мы обнаруживаем в вед. *yoh* ‘благосостояние, процветание’, авест. *yaos* ‘очищение’. При этом реконструируемое для иранского и индийского *yaus** в авестийском и ведийском употреблялось различным образом: *yoh*, представленное только в выражениях с *sam* (напр., *samyoh* или *samca yosca*), – это пожелание, адресованное божеству, выраженное в словесной формуле; *yaos*, в свою очередь, сохранилось только в сочетании с глаголом *da-* ‘класть, ставить’, ‘заставить, вернуть’, образуя новый глагол *yaozdati*, букв. ‘устанавливать *yaos’*, в значении «устанавливать согласно предписаниям; приводить в состояние, требуемое культом», т.к. для успешности ритуала «всякое действие должно быть ритуально совершенным, а объект жертвоприношения, сам по себе, не должен иметь изъяна» [Бенвенист 1995: 307].

Как показал Э. Бенвенист, оба этих смысла (‘что должно сказать’ – *yoh*; ‘что должно сделать’ – *yaos*) представлены в содержании лат. *ius*. С одной стороны, *ius* – состояние, достижение которого требуется для гармонии, правильности, справедливости, законности. Факт соответствия этому состоянию описывается в

юридических формулах дериватом *iustus* ‘справедливый, законный, правильный’: *iustae nuptiae* ‘законный брак’, *iusta uxor* ‘законная супруга’. С другой стороны, *ius* – это и есть формула, которую нужно изречь (*dicere*) для того, чтобы достичь указанного соответствия [Бенвенист 1995: 309].

Таким образом, по Э. Бенвенисту, основанием понятия «ius» в древнеримской культуре является идея о том, что бытие всего живого упорядочено в соответствии с определенными правилами, которые есть законы бога или природы. Эти правила или предписания в отношении того или иного объекта нужно понять, разгадать и безоговорочно выполнять (в чем и заключается функция жрецов) для того, чтобы он стал соответствовать нормальному, правильному, справедливому, а стало быть, законному порядку вещей в этом мире. «Смысл слова восходит не столько к моральным, сколько, и прежде всего, к религиозным представлениям: индоевропейская идея подчинения правилу, условиям, которые надлежит выполнять, чтобы соответствующий объект (предмет или лицо) воспринимался как благополучный, чтобы он отвечал своему назначению и был действенным…Итак, религиозные корни права и устная форма чётко прослеживаются в основных его терминах» [Бенвенист 1995: 311].

Основываясь на сказанном выше, можно сделать вывод, что в основе значения лат. ius лежит идея о существовании единого предписанного рационального и в то же время естественного миропорядка, который санкционирован божественной волей. На предписанность права указывает и древнеримский юрист Ульпиан: «*privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus*» (D. 1.1.1.2) // частное право делится на три части: ибо оно составляется или из естественных предписаний, или (из предписаний) народов, или (из предписаний) цивильных.

Связь божественного, природного и человеческого – характерная черта римского права. Ср. высказывание Цицерона (Off. III. 23) [Дементьева 2003: 13]: «*Atque hoc multo magis efficit ipsa naturae ratio, quae est lex divina et human*» – «…разум природы есть закон божеский и человеческий». По мнению Э. Бенвениста, эта связь реализуется и на языковом уровне: лат. *ius* ‘право’, лат. *mos*

‘обычай, нрав’ и лат. *fas* ‘божественное право’ образованы по одной модели древних несклоняемых существительных среднего рода [Бенвенист 1995: 321].

Таким образом, в древнеримской культуре мы можем наблюдать изначальную обусловленность и опосредованность права как совокупности божественных предписаний религиозным дискурсом, о чем свидетельствуют и экстралингвистические данные. Жреческие коллегии, наиболее могущественными из которых были понтифики (pontifices) и авгуры (augures), напрямую участвовали в регулировании социальной жизни. Гражданская, светская власть выросла из сакральной, жреческой. Как пишет Цицерон (De dom. 1.1): «одни и те же лица руководили как служением бессмертным богам, так и важнейшими государственными делами» [Кофанов 2006 (2): 191]; по свидетельству византийского историка Иоанна Лида, «общеизвестно, что были жрецы, которые впоследствии были «заменены» магистратами Римской республики» [Там же: 191].

Далее нужно отметить, что один из основных мотивов появления феномена права (ius) в Римской культуре – это идея о возможности гармонизации с существующим миропорядком, явленном жрецам в виде сакральных предписаний (лат. *praecepta*) посредством ритуальных практик говорения (лат. *dicere*). Так, деятельность жреческой коллегии авгуров «была связана с гаданиями, т.е. с выявлением воли божества относительно того или иного намерения людей» [Там же: 191].

Как указывает С.Г. Проскурин, само осмысление права как ius dicere – «говорить право» – свидетельствует о ритуальной форме возникновения первых законов» [Проскурин 2009; 109]. Э. Бенвенист, возводя значение лат. *ius* к и.-е. **yaus* (с одной стороны, значением **yaus* является то, ‘что должно сделать’, с другой – ‘что должно сказать’), отмечает, что в выражении ‘*ius dicere*’ *ius* обозначает «формулу нормального состояния», предписывающее то, чему необходимо соответствовать» [Бенвенист 1995: 307]. Это «нормальное состояние» достигается посредством акта речи – *ius dicere*, и «именно из этого акта речи…развивается вся терминология юридической деятельности: *iudex* (судья),

iudicare (судить), *iudicium* (суд), *iuris-dictio* (судоговорение = судопроизводство) и т.д.» [Бенвенист 1995: 307]. Древняя связь ius и dicere, их подчеркнутая взаимообусловленность в латинской юридической дискурсивной практике свидетельствует о изначальном, говоря словами Дж. Остина, перформативном характере юридических высказываний, возникшем в архаичных ритуальных практиках.

Ритуализация и соответствующая ей перформативность ритуально-правовых изречений, формул также лежат в основании другого известного латинского термина – *lex* (закон). Так, Сервий в комментариях к Энеиде упоминает формулу «*legis dictio*», обозначающую некий особый вид авгурий, т.е. испрашиваемую волю богов:

«*Serv. Ad. Aen III. 89 Augurium modo oraculum, sed usurpative. Augurium enim est exquisite deorum voluntas per consultationem avium aut signorum, quod tunc peti debet, cum id quod animo agitamus per augurium a diis volumus imperatum, ut in hoc loco Aeneas, postquam omnia quae volvebat animo petiit,aiit «da pater augurium». Et est species ista augurii quae legum dictio appelatur: legume diction autem est, cum condicio ipsius augurii certa nuncupatione verborum dicitur, [quail condicione augurium peractarus sit:] quod hic facit exsequendo formas petitionis versibus supra dictis; tunc enim quasi legitima iure legem adscribit «da pater augurium» et reliqua*». // «Словом Augurium некогда [назывался] оракул, но только захватываемый. Ведь авгурий - это воля богов, испрашиваемая посредством консультации у птиц и знаков, которые следует искать тогда, когда то, что мы замыслим в душе, мы хотим посредством авгурий добиться от богов, подобно тому как в этом месте Эней, после того как все, что он вынашивал в душе, испрашивает, говорит «дай отец мне счастливых знамений». И есть такой особый вид авгурий, который называется «произнесение законов», ведь «произнесение законов» происходит, когда обстоятельства самого авгурия оговариваются посредством определенного торжественного произнесения слов (нункупаций), о том, [какими обстоятельствами авгурий будет совершен], это он делает посредством расследования в форме петиций, как сказано в приведенных выше

стихах; ведь после этого он как бы на законных основаниях добавляет норму «дай мне отец счастливых знамений» и прочее» [Проскурин 2009: 109].

Л.Л. Кофанов отмечает, что «акт произнесения закона (*legis dictio*) в древнейший период связывался с ритуалом утверждения закона знамениями богов (*augurium*), и, соответственно, постановлением отцов-сенаторов» [Кофанов 2006 (2)].

Представляется, что использование термина «закон» при переводе рассматриваемой формулы является не совсем удачным, т.к. классическое понятие закона (*iussum populi* ‘приказ народа’) явно не соответствует контекстному значению lex у Сервия. Более нейтральным является толкование legis dictio как «произнесение правила о том, какими обстоятельствами будет совершен авгурий». Также, исходя из понимания Л.Л. Кофанова, можно предположить, что эти «правила произнесения (говорения)» как раз и составляли ритуал утверждения закона знамениями богов (augurium).

Классическое определение закона, которое актуально и в наши дни, даёт знаменитый римский юрист Гай: «*Lex est quod populus iubet atque constituit*» (*Gai*. Inst. I. 3) [GAI INSTITVTIONVM] // Закон есть то, что народ приказывает и устанавливает. Однако сегодняшнее рациональное позитивистское понимание закона как нормативного правового акта, принятого представительским органом власти в виде текста, интерпретируемого с помощью законов формальной логики, было чуждо древним римлянам.

В римской традиции в основе понятия «закон» лежала идея его предзаданности и сакральности. Так, римский юрист Папиниан отмечает, что «закон есть общее предписание… общая клятва государства» // *Papin*. D. 1. 3. 1: «*Lex est commune praeceptum… communis rei publicae sponsio*» (ср. *iurare* ‘клясться’; *ius iurandum* ‘гражданская клятва’). Другой римский юрист, Марциан даёт следующее определение закона: «Закон есть то, чему все люди должны повиноваться в силу разных оснований, но главным образом потому, что всякий закон есть мысль и дар бога» // Marcianus. D. 1.3.2: «*…touto estin nomos, hw pantas anvrwpous prosykei peivesvai dia polla, kai malista hoti pas estin nomos ehurema men*

kai dwron veou» [DIGESTA]. У Цицерона закон – это не что иное, как «разум, направляемый и исходящий от знамений богов // Cic. Phil. 11. 28:… *est lex nihil aliud nisi recta et [iam] a numine deorum tracta ratio…*»; «Закон… – это вечный божественный разум и божья воля, приказывающая сохранять порядок природы и запрещающая нарушать его // August. c. Faust. 22. 27: *lex… aeterna est ratio divina vel voluntas dei ordinem naturalem conservari iubens, perturbari vetans*» [Кофанов 2006 (2)].

При этом толкователями «божественной мысли закона», *prudentibus* (‘мудрецами’; ср. *iuris-prudentia* букв. ‘знание ius’), в архаическую царскую эпоху Древнего Рима были цари и жрецы, отцы Рима (patres), которые сосредоточили в своих руках реальную власть.

Представление о праве как о совокупности формул, регулирующих социальные взаимоотношения, взаимоотношения человека и бога, взаимоотношения человека и природы, уходит корнями в архаичную эпоху римского государства, когда право имело под собой безусловное сакральное основание и понималось как результат божественного волеизъявления, часто выраженного в безличном слове. Ср. высказывание Гесиода (Труды, 763-764): «Слово (*φήμη*; ср. с лат. *fama* ‘молва’ как деперсонифицированная речь) не может исчезнуть бесследно, коль скоро множество людей его повторяют; ибо оно само по себе является чем-то божественным» [Бенвенист 1995: 323].

Как показал Э. Бенвенист, латинское слово *fas* ‘божественное право’ тесно связано с древним глаголом ***for*** и его более современным вариантом *fari, fatus sum* ‘возвещать, изрекать’. Тот же смысл обнаруживает др.-греч. глагол *φημί* ‘говорить’ (ср. др.-греч. *φάτις* ‘репутация, молва’, *φήμη* ‘слово’, *φήμη θεόν* ‘слово богов’). Характер связи *fas* и ***for*** подсказывается религиозной семантикой причастия среднего рода *fatum* со значениями ‘слово, изречение богов’, ‘рок, судьба’ и в более полной мере явствует из толкования древнего выражения *fas est* – букв. ‘есть fas, что…', или ‘то, чего желают боги’ [Бенвенист 1995: 321 – 323], или ‘то, что изречено богами’. Важно отметить, что *fas* противопоставляется здесь *nefas* (*ne fas est*), тому, что запрещено богами, образуя

тем самым словесную и смысловую оппозицию, в соответствии с которой римский жрец толковал знамения богов, разграничивая, таким образом, сферу дозволенного и запрещенного. «В fas нет ничего, указывающего на специфический характер этого права, но к нему-то и восходит представление о торжественном провозглашении слова, об изречённом соизволении: fas или nefas – атрибут верховного жреца, которому надлежит знать и излагать волю богов, дозволяющую или же запрещающую» [Бенвенист 1995: 323].

Таким образом, fas – это концептуальная основа ius: можно сказать, божественное fas очерчивает поле дозволенного действия человеческого права; границы этого поля изначально устанавливали жрецы (демаркация в соответствие с оппозицией *fas vs. nefas*), толкуя знамения богов, явленные в перформативных сакральных речевых актах (ср. *φήμη θεόν*).

Глубокая смысловая связь lex и ius с глаголом dicere, fas с глаголом for показывает, что всем этим словам, включая mos, свойственна «речевая» семантика, проявляющаяся в изначально перформативной природе речевых актов, в которых порождалось право. Этот феномен, по-видимому, связан с тем, что «в древнейший период римляне, как, впрочем, и многие другие народы, находившиеся в стадии формирования гражданского общества, свято верили в магическую действенность слова. Вообще, следует отметить, что в римском архаическом обществе слову и ритуалу придавалось значение едва ли не большее, чем самому действию» [Кофанов 2006 (2):168]. Произнесенные по определенным правилам ритуала (ср. legis dictio) слово или словесная формула обретали всеобщую значимость социальной нормы. Например, в Законах XII таблиц несколько раз встречается формула *ITA IVS ESTO* – ‘да будет так (=правом)’, которая, таким образом, провозглашает обязательность и действенность того или иного события, акта для всех членов римской civitas.

1. «*VTI LEGASSIT SUPER PECVNIA TVTELAVE SVAE REI, ITA IVS ESTO*» (V.III) [Leges XII Tabularum] // Как кто завещает свое домашнее имущество или распорядится относительно опеки, так то и будет правом.

2. «*CVM NEXVM FACIET MANCIPIVMQVE, VTI LINGVANVNCVPA*

SIT, ITA IVS ESTO» (VI.I) [Leges XII Tabularum] // Когда кто-либо совершает nexum или mancipium, то пусть слова, которые он произносит, будут правом.

Как видно, во втором высказывании слова, которые произносит совершающий сделку nexum или mancipium, становятся правом посредством их торжественного произнесения – *nuncupatio*. Как было показано выше, этот термин использовался Сервием при разъяснении сущности авгурия legis dictio – ритуала утверждения закона знамениями богов. Представляется, что изначально nuncupatio – это вербальный акт свидетельствования, обета перед богами. На религиозный, сакральный смысл этого термина указывает, в частности, Фест:

«Fest. P.176 L.: *Nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in lib. II de officio iuriscon sulti, nominata, certa, nominibus propriis pronuntiata:«cum nexum faciet mancipiumqu e, uti lingua nuncupassit, ita ius esto»: id est uti nominarit, locutusve erit, ita ius esto… At Santra lib. II de verborum antiquitate, satis multis nuncupata conligit, non directo no minata significare, sed promissa, et quasi testificata, circumscripta, recepta, quod etiam in votis nuncupandis esse convenientius* // *Nuncupata pecunia* – это, как говорит Цинций во 2-й книге «О должности юрисконсульта», названные, определенные, объявленные специальными словами деньги. Ведь в Законе XII Таблиц сказано: «Когда кто-то совершает nexum и mancipium, пусть слова, которыми он обязуется, да будут правом»... Также Сантра во 2-й книге «О древних словах» довольно многое разъясняет относительно слова nuncupata, что это не точно означает *nominata* ‘названные’, но также и ‘обещанные’ и как будто ‘засвидетельствованные’, ‘определенные’, ‘обязательственные’, потому что даже и теперь это слово используется в религиозных клятвенных обетах» [Кофанов 2006 (2)].

В дальнейшем борьба плебеев за свои гражданские права с родовой аристократией – патрициями (patres) – сопровождалась перманентным повышением роли закона (lex) как приказа, установленного именно народом, по отношению к mores maiorum (обычаям патрицианских родов) и fas (божественному праву), первоначально, как было показано выше, составлявшему сакральную основу lex.

Роль жрецов впоследствии (главным образом, после принятия в 451-450 гг. до н.э. Законов XII таблиц) сводилась к толкованию и комментированию законов. С 287 г. до н.э. закон, по отношению к другим источникам права (mos ‘обычай’ и fas ‘божественное право’), занимает, безусловно, доминирующую роль, наступает эпоха «формального равенства всех граждан перед законом», обеспеченного iussum populi. Отметим, что для европейской цивилизации идея формального равенства всех граждан перед законом сегодня считается одним из краеугольных камней концепции правого государства, а также одной из базовых социальных ценностей.

Учитывая всё вышесказанное, можно предположить, что по представлениям древних римлян торжественное произнесение сакральных формул, описывающих сделку либо иной юридический акт, являлось свидетельствованием этого акта перед богами, что обеспечивало действенность и обязательность права. С этой точки зрения, мы можем толковать глубинное значение ius как «засвидетельствованное перед богами посредством произнесения определенных вербальных формул волеизъявление отдельных лиц (например, главы семьи, pater familias, завещавшего свое имущество), нескольких лиц (например, при совершении сделки стипуляции [Проскурин 2011]), либо всего народа (закон – lex как общегражданская клятва (ius iurandum), засвидетельствованная и одобренная богами, ставшая в результате iussum populi – приказом народа)».

Право ius (как и современное право), возникшее в ритуальных практиках и утвержденное в сакральных вербальных актах, в силу своей перформативной природы, не может оцениваться как что-то истинное или ложное. Имманентное свойство перформативности ius дополнительно подтверждается особенностью словообразовательной модели рассматриваемого слова, которую отметил Э. Бенвенист: «в латыни не существует производных от ius – прилагательных или существительных, которые означали бы «тот, кто является юристом, кто знает право, занимается им, практикует его»…не существует *iuricus или какого-либо аналогичного термина. Имеются, правда, композиты, но это лишь сращения: *iuris prudens* (и *prudentia*), *iuris consultus*, *iuris peritus*…Причина тому, вероятно, в

восприятии права исключительно в качестве корпуса формул и в занятии правом как ремеслом. Оно не рассматривалось как наука, не допускало выдумки. Право было закреплено в кодексе, в своде изречений и предписаний, которые следовало просто знать и применять» [Бенвенист 1995: 323].

1.1.5. Формальный язык юридического дискурса как результат эволюционного семиотического процесса: на примере некоторых терминов римского права

Юридический дискурс, наряду с религиозным, является, пожалуй, наиболее консервативным из институциональных типов дискурса. Причиной является то основание, которое организует его содержание и обеспечивает его действенность, – ценности, разделяемые обществом. Первоначально эти ценности имели религиозный, а стало быть, незыблемый характер для членов того или иного общества, и постулировались в сакральных перформативных актах.

Выше было показано, что одной из ключевых черт юридического дискурса является выраженная перформативность составляющих его высказываний, что предполагает субъективный характер соответствующих речевых актов. Однако высказывания в текстах современных законов романо-германской и англо-саксонской правовых семей характеризуются преимущественной деперсонифицированностью.

Так, на уровне правотворческой коммуникации современных российского и английского юридических дискурсов деперсонифицированность выражается в использовании соответствующих языковых средств:

- лексические средства с обобщающей семантикой (в российском юридическом дискурсе: *«мы», «каждый», «все», «никто», «во всех случаях», «законодатель»* и т.д., в английском: *«we», «our», «any person», «no one», «everyone», «no person»*, etc);

- пассивные и безличные конструкции (в российском юридическом дискурсе: *«исполняется», «выносится», «назначается», требуется», «выносится», «называется», «необходимо»* и др., в английском: *«be appointed»,*

«be granted», «be guaranteed», «it is required that», «it is necessary that», «it's the obligation», «as required by law», etc);

- etc.

Если мы обратимся к тексту преамбул действующих Конституций таких стран, как Российская Федерация (Россия), Соединенные Штаты Америки (США), Федеративная Республика Германия (ФРГ), Франция, то в них в качестве субъекта, создателя, автора текста Основного закона государства представлен «народ»:

Конституция Российской Федерации 1993 года: «*Мы, многонациональный народ Российской Федерации…принимаем Конституцию Российской Федерации*» [Конституция Российской Федерации].

Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 года: «*We the People of the United States…do ordain and establish this Constitution for the United States of America*» [U.S. Constitution].

Конституция ФРГ 1949 года: «…*Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben»* [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland] .

Конституция Франции 1958 года: «*Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004*» [Constitution de la République française].

Очевидно, что реальные создатели указанных текстов не могут быть отождествлены с населением соответствующей страны. Интересно, что репрезентация коллективного автора, загадочного «законодателя» Конституции, в качестве народа страны, как бы снимает вопрос об авторстве.

Видимо, главной причиной деперсонификации текстов указанных Конституций является стремление их создателей предать основному закону государства объективный онтологический статус, отчуждённый от воли конкретных индивидов, что обеспечивается в содержательном плане идей

формального равенства каждого перед законом, а в плане выражения – соответствующими языковыми средствами, позволяющими достичь восприятия объективности, универсальности и беспристрастности закона.

Нужно отметить, что идея формального равенства граждан перед законом появилась и развилась в лоне римской культуры и была связана с продолжительной борьбой плебеев с патрициями за свои гражданские права, закончившейся принятием Закона Гортензия в 287 г. до н.э., которым было постановлено, что решения народных собраний (плебисцитов) имеют силу закона. При этом установление в Древнем Риме организованного народовластия сопровождалось заменой религиозной основы прежних правовых институтов, обеспечивающих власть patres, родовой знати, идей равенства прав всех римских граждан в соответствии с законом как iussum populi – приказом народа.

Однако в плане выражения древнеримского юридического дискурса не произошло революционных изменений: с течением времени не изменился способ построения и организации юридического текста, в основном сохранилась правовая лексика, использовавшаяся ранее, до провозглашения формального равенства всех римских граждан. Изменения коснулись содержательных оснований древнеримского юридического дискурса: действенность перформативных правовых актов обеспечивалась теперь в сознании римлянина не санкцией богов, но государством как организованной формой народовластия. Таким образом, юридический религиозный дискурс в сознании древних римлян прошел путь от осознания ими священства и божественности закона к юридическому формально-рациональному дискурсу, метафорично выраженному в идее театра, воплощенной в концептуализации лексемы persona (см. Главу 3).

Сходные семиотические эволюционные процессы характеризуют также развитие права в западной традиции. Как указывает Г.Дж. Берман, изначальной религиозной основой западного права, начиная с XI-XII вв., являлась христианская община – populus Christianus [Берман 1993: 68], не сводимая к нации-государству: именно церковь способствовала возрождению и

первоначальному развитию римского права, воплотившемуся в каноническом праве церкви.

При этом в основе западной традиции права, также как и в основе рассматриваемого выше «предправа», или же классического римского права, лежали представления о «правильном порядке вещей», которому необходимо соответствовать: «Западная традиция права формировалась в контексте тотальной революции (прим. автора: имеются в виду клюнийская и григорианские реформы конца X-XI вв.), целью которой было установление «правильного порядка вещей» или «правильного порядка мира». «Правильный порядок» означал новое деление общества на раздельные церковные и светские власти, институционализацию церковной власти как политической и юридической единицы и убежденность в том, что церковная власть обязана переделать светское общество» [Берман 1998: 121].

Подобно позднему Древнему Риму, западноевропейские государства избавились от религиозной основы права, провозгласив демократические ценности гражданского общества фундаментом, на котором должно строиться государственно-правовое устройство. Однако из анализа современных юридических текстов следует, что, как и в древнеримской культуре, лишившейся со временем своей изначальной ценностной основы, основной источник права – закон, по-прежнему онтологизируется в текстах как объективно действующий.

Таким образом, с одной стороны, в плане содержания юридического дискурса, на его поверхностном уровне, право трактуется исключительно в технических терминах, как «способ достижения особых политических, экономических и социальных целей» [Берман 1999: 17]. С другой стороны, в плане выражения юридического дискурса право онтологизируется как объективно действующее, в чём усматривается формальная преемственность существовавших ранее религиозных воззрений: «истоки основных институтов, понятий и ценностей западных правовых систем лежат в религиозных обрядах, литургических нормах и доктринах XI—XII вв., которые отражали новые воззрения на смерть, грех, наказание, прошение, спасение, а также и новые

представления об отношении божественного к человеческому и веры к разуму. За прошедшие века эти религиозные воззрения и представления коренным образом изменились, и сегодня их теологические источники, по-видимому, иссякают. Однако сформировавшиеся на их основе правовые институты, понятия и ценности живы и часто ничуть не изменились. Западная наука права — это светская теология, которая часто выглядит бессмыслицей, так как ее богословские посылки уже никто не признает» [Берман 1998: 165].

Стоит отметить, что рецепция римского права, проведённая во Франции и Германии в XVIII-XIX вв., фактически совпала с процессами активной секуляризации. Интерес создателей новых европейских правовых систем к римскому праву во многом объясняется рациональностью, системностью, универсальностью и светскостью последнего. В результате большинство системообразующих терминов, понятий и институтов, активно формирующихся в тот период романо-германской и англосаксонской правовых семей, было заимствовано из римского права классической эпохи.

Вектор развития современного западноевропейского права может быть, условно охарактеризован следующими принципами: рациональность, формальная определённость, прагматичность, системность, увеличение и усложнение дискурсивных практик. При этом базовые понятия и институты, на которых строятся национальные правовые системы, являются, в своём большинстве, заимствованными из римского права (особенно это касается цивильного права романо-германской правовой семьи), которое было вновь открыто для средневековой европейской культуры в XI в. католической церковью и долгое время применялось и интерпретировалось исключительно её служителями. Однако зачастую не учитывается, что данные понятия и институты, будучи, главным образом, языковыми феноменами, являются результатом исторической эволюции формы и содержания периодом в несколько сотен, а иногда и тысяч лет. Поэтому заимствование внешней формы слова какого-либо базового понятия права, а также его поверхностного контекстуального содержания, без реконструкции лежащего в основе концепта, может привести на

практике к серьёзным проблемам, поскольку юридический дискурс связан только с социально значимыми общественными отношениями.

Некоторые семиотические закономерности диахронного развития концептов правовой культуры.

1. Диахронное развитие концептов культуры, к которым, без сомнения, относятся и многие правовые понятия, характеризуется преемственностью словесного знака (внешней формы слова) при одновременной эволюции содержательных компонентов. «Отношения преемственности формы и содержания» в диахронном срезе концепта, «благодаря которым не́что из старой стадии концепта становится знаком в его новой стадии», были выявлены и подробно рассмотрены Ю.С. Степановым:

«если концепт складывается из слоев различного времени происхождения, то естественно представлять его эволюцию в виде некой последовательности или ряда, звеньями которых являются стадии концепта или, говоря иначе, данный концепт в разные эпохи. Между этими звеньями, сто́ит расположить их достаточно последовательно, сразу же вскрываются особые отношения преемственности формы и содержания, благодаря которым не́что из старой стадии концепта становится знаком в его новой стадии. Такие отношения должны быть по этой причине связаны с принципом знака или, что будет точнее, с принципом организации знаковых систем. Поскольку изучение знаковых систем чаще всего называется семиотикой, мы назвали такое расположение концептов в ряды эволюционными семиотическими рядами» [Степанов 2004: 61].

Сущность такого ряда заключается в том, что новый предмет занимает в общественном быту и общественном сознании место какого-то прежнего предмета, принимая его функцию. Форма — в широком ее понимании — выступает здесь знаком занятого места, функции или назначения, она значима, санкционирует предмет. Семиотический процесс замещения является одновременно процессом преемственности и эволюции [Там же: 25-26].

С.Г. Проскурин определяет эволюционный семиотический ряд как последовательность, состоящую из культурных объектов, которые сгруппированы

с точки зрения семиотики и связаны между собой через метаморфизм. Более поздний предмет замещает более ранний, так как выполняет его функцию или сохраняет его форму [Proskurin 2010: 84].

Нужно отметить, что семиотическая эволюция права и соответствующего ему юридического дискурса характеризуется ослаблением их содержательных признаков. Как отмечает С.Г. Проскурин, «по своей природе право – семиотическая система. Ему присущи все черты эволюции знаков. Большинство знаковых символов переживает трансформации от сильного символа к ослабленному, и затем – совсем слабому. Это своего рода семиотическая закономерность» [Проскурин 2008: 11].

Для описания данных закономерностей используются следующие понятия, разработанные Ю.С. Степановым [Степанов 1971].

1. «Уровень знаковости», который описывает энергетические пределы знаковой системы: верхний (характеризуется биологическим или физическим воздействием знаков на участника коммуникации), нижний (ему соответствует биологическая нерелевантность, абстрактность знаков для участника коммуникации) и средний (характеризуется частичной биологической релевантностью для участника коммуникации); таким образом, данный термин характеризует степени перехода от чисто физического явления к языку.

2. «Тип знака» - данный термин определяет устройство той или иной знаковой системы в зависимости от уровня знаковых отношений в терминах «тождество», «подобие», «условность»; например, «*знак может быть тождествен означаемому*: плевок – знак физического отвращения, заключающегося отчасти в обильном слюноотделении, плевок – это и знак, и самое существование этого аффекта; *знак может быть только подобен означаемому*: такова имитация плевка, сопровождающаяся часто восклицанием «тьфу*»; знак может быть условен*, т.е. связан с означаемым чисто условно: таково слово «тьфу» или, еще больше, восклицание «наплевать» и вообще слова» [Степанов 1971].

Данные знаковые отношения наглядно иллюстрируются таблицей (Таблица 1) [Степанов 1971]:

Таблица 1.

Энергетические пределы знаковой системы и соответствующие им типы знаковых отношений в концепции Ю.С. Степанова

Тип знака / Уровень знаковости	1. Тождество	2. Подобие	3. Условность
I. Биологически полная релевантность (этология, биосемиотика)	1) побои 2) плевок в человека 3) поцелуй		
II. Биологически частичная релевантность (этнология, этносемиотика)		1) наказание ремнем, розгами, шлепком 2) плевок на землю 3) поцелуй в руку	
III. Биологически нерелевантность (лингвосемиотика)			Восклицание и фразеологич. обороты: 1) “Выпорю!”, “Ремня захотел?” и т. п. 2) “Плевал я на него!” 3) “Поцелуй Машу, кланяйся Ивану Петровичу”

Ю.С. Степанов поясняет данную таблицу следующим образом: «Язык приобретает свойство быть «не языком» (т. е. физическим воздействием) тогда, когда явления, образующие язык, в то же время так или иначе биологически воздействуют либо на получателя сообщения, либо на самого отправителя, когда эти явления биологически существенны, биологически релевантны. Знаки этого языка по необходимости тождественны означаемым. Это низшая ступень. На второй ступени язык дальше отошел от прямого физического воздействия, он биологически частично релевантен; знаки же такого языка всего лишь подобны означаемым. На третьей ступени язык биологически нерелевантен» [Там же].

Данная концепция, наряду с концепцией семиотических эволюционных рядов, представляет цельную и достаточную систему для описания процессов семиотической эволюции лингвокультурных явлений.

Семиотическая эволюция того или иного концепта, как правило, характеризуется ослаблением интенсивности его признака (или признаков) на уровне означаемого и проявляется в преемственности его означающего (или означающих).

Так, рассматривая эволюцию правовых институтов на материале классической римской формулы *ius ducere* (а также её коррелятов), С.Г. Проскурин отмечает, что «наблюдение над изменением значений в индоевропейских языках позволяет увидеть закономерности преобразования значения «вести», «тянуть» в значение «судить», которые представлены им в форме следующей таблицы (Таблица 2) [Проскурин 2010: 108]:

Таблица 2.

Семиотическая эволюция формулы ius ducere

Уровень знаковости	Тождество. Акт	Подобие. Жест вместо акта	Условность
1. Биологически полная релевантность (этнология, биосемиотика)	Лат. *ducere* -'тянуть', 'тащить силой' Гот. *tiuhan* -'тянуть' Рус. *тянуть*		
2. Биологически частичная релевантность (этнология, этносемиотика)		*ius ducere* 'вести на судоговорение', 'привлечь к суду'	
3. Биологическая нерелевантность (лингвосемиотика}			Лат. *ducere* - 'судить' Др.-англ. *ping* - 'судебное дело', 'спор' Рус. *тяжба* и термин *тяжущийся*

«От полного тождества действия и информационной модели правовые институты, по-видимому, эволюционировали в сторону подобия, когда вместо тождества знака и действия выбирается некий ритуальный процесс, имитирующий преодоленную ценность – действие силой. В результате наступает этап семиотически ослабленного действия. На третьей ступеньке эволюции концепта появляется аспект суда, тяжбы. Все его элементарные предпосылки основываются на эволюции концептов тянуть - вести - судить. Такое понимание развития права отвечает общей тенденции семиотического развития – стремлению к семиотически ослабленному действию» [Проскурин 2010: 108].

Сходные по характеру трансформации знаковых символов также подмечает В.И. Карасик, которые он называет «выветривание знака»: «Помимо этого знаку свойственно «*выветривание*», например, первоначально получить титул рыцаря можно было только в бою, затем бой сменился имитацией вооруженного противоборства и наконец – символическим ритуалом, в ходе которого посвящающий ударял коленопреклоненного посвящаемого по плечу плашмя лезвием меча и произносил определенную сакральную формулу» [Карасик 2013: 10].

В качестве собственного примера проявления закономерности семиотического ослабления в эволюции правовых институтов рассмотрим древнеримскую формулу *sacer esto.* Формула *sacer esto* (букв. ‘да будет проклят’) в древнеримском юридическом дискурсе истолковывалась как ‘да будет посвящен в жертву богам’ [Кофанов 2006 (1): 169]. В основе её применения лежат представления древних римлян о сакральном характере принятия и действия закона.

Как уже отмечалось выше, закон (lex) в архаичном Древнем Риме, в силу своей обязательной санкционированности божественной волей, осознавался как объективно существующий. Объективной осознавалась и действенность закона: ведь в случае нарушения данной римским гражданином клятвы (*ius iurandum*), его неизбежно настигала божья кара, либо civitas следовало искупить вину своего члена жертвоприношениями. Исполнение санкции за нарушение запрета

обеспечивалась произнесением (nuncupatio) рассматриваемой сакральной формулы.

Л.Л. Кофанов отмечает, что по прошествии времени санкция, описываемая формулой *sacer esto,* становилась всё более условной, в то же время её функция (обеспечение принудительной силы закона) сохранялась, как оставалась неизменной и внешняя форма выражающих её слов.

Если изначально «на основании формулы sacer esto…в древности совершались человеческие жертвоприношения», то с «VI-V вв. до н.э. формула sacer esto несколько изменила свое значение. Так, Фест, говоря о священном законе о неприкосновенности плебейских трибунов и эдилов, следующим образом определяет понятие *homo sacer*: «*Посвященным (sacer)* является тот человек, которого народ приговаривает за преступление, но его не дозволено приносить в жертву, однако тот, кто его убьет, не осуждается за злодейство. Ведь в первом трибунском законе сказано: «Если кто того, кто по решению плебеев посвящен богам, убьет, то убийцей не будет» // *Fest.* P. 424 L.: *At homo sacer is est, quern populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur; nam lege tribunicia prima cavetur, «si quis eum, qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit*» [Кофанов 2006 (2): 170-171].

Формула sacer esto применялась не только к лицам, но и к вещам преступника, что в архаическую эпоху выражалось в конфискации имущества в пользу богов (*consecratio bonorum*) [Там же: 181].

Л.Л. Кофанов [Там же: 171] отмечает, что далее, «в период поздней Республики и начала принципата, посвящение богу сводилось лишь к религиозному проклятию, причем считалось, что бог сам покарает преступника *(Cic.* leg. II. 22; *Tac.* Ann. I. 73)». Изменился и «выгодоприобретатель» конфискованного имущества преступившего запрет: формально им стал римский народ, что отразилось в изменении имени формулы с *consecratio bonorum* на *publicatio bonorum*. Этот институт сохранялся в полной мере вплоть до I в. до н.э. А уже в I в. до н.э. Луций Корнелий Сулла использовал древний институт sacer esto как ценностно окрашенную конвенциональную формулу для юридического

обоснования проскрипций – публичного списка граждан, объявленных «вне закона».

Как отмечает итальянский исследователь Ф. Салерно, причина замены consecratio в пользу бога конфискацией имущества в пользу государства заключалось в установлении в Древнем Риме народовластия [Salerno 1990: 91-126]. Таким образом, в ходе развития римского права наблюдается изменение санкционирующей силы правовых предписаний: от божественной воли, толкуемой жрецами, к государственной власти как организованной форме народовластия (после победы плебеев в 287 г. до н.э. над патрициями именно populus принимает закон и санкционирует его действие). Сегодня идея о том, что источником государственной власти является народ, – это одна из базовых ценностей западноевропейской культуры.

Ослабление религиозного содержания юридических формул, ритуальной, сакральной основы права в результате провозглашения народовластия, выхолащивание формул в эпоху научного (в том числе и юридического) позитивизма, привело к номинальности объективного статуса закона. Подобно тому как древнеримский диктатор Луций Корнелий Сулла в. I в. до н.э. использовал древний институт sacer esto для юридического обоснования проскрипций, в наши дни политические деятели используют конвенциональные ценностно окрашенные словесные формы, формулы и формулировки, типа «народ», для обоснования своей личной или коллективной политической воли, часто выраженной в форме законодательных актов.

Преемственность в семиотической эволюции рассматриваемого правового института обеспечивалась сохранением центрального семантического компонента значения формулы – функции обеспечения принудительной силы закона. Как отмечает Л.Л. Кофанов: «религиозная форма санкции обеспечивала принудительную силу закона. Однако религиозное содержание санкции закона уже при последних царях, и особенно в эпоху ранней Республики, начинает постепенно уходить на второй план, т.е. становится лишь внешней формой» [Кофанов 2006 (2): 181].

Таким образом, семиотическая эволюция формулы *sacer esto*, аналогично *ius ducere*, характеризуются, с одной стороны, преемственностью формы (одной и той же внешней формы слов – *sacer esto*), с другой стороны – изменением содержания по линии семиотического ослабления интенсивности признака «характер воздействия санкции на преступившего запрет»:

ОСЛАБЛЕНИЕ ПРИЗНАКА ↓

- *sacer esto* ‘смертная казнь’ (уровень знаковости: биологическая релевантность, тип знака: тождество знака и действия);
- *sacer esto* ‘объявление вне закона и конфискация имущества в пользу богов’ (уровень знаковости: частичная биологическая релевантность, тип знака: подобие);
- *sacer esto* ‘религиозное проклятие и конфискация имущества в пользу государства’ (уровень знаковости: биологическая нерелевантность, тип знака: условность).

На примере семиотической эволюции формулы sacer esto было показано, что в древнеримской культуре, с изменением общественных отношений и ценностных ориентаций общества, действие права постепенно стало утрачивать свой первоначально сакральный смысл, однако неизменной оставалась его основная функция – регулирование общественных отношений. В силу семиотического закона преемственности формы при замещении одного явления другим, оба из которых выполняют сходную функцию, план выражения юридического дискурса остался в целом неизменным, сохранив следы некогда существовавшей веры в санкционированность закона божественной волей.

Если рассматривать юридический дискурс со структуралистской позиции, можно сказать, что его онтологизация и объективация реализуется в соответствующем плане выражения, состоящем из объективно существующей в языке совокупности различных вербальных и невербальных средств (материала), а также формальных правил, посредством которых организованы эти вербальные и невербальные средства для передачи языкового сообщения.

Реализация формальной объективации юридического языка в плане выражения имеет семантическую основу в плане его содержания. Можно сказать, что план содержания юридического языка на различных уровнях его организации, от семантики отдельных слов до семантики текстов, «пронизан» культурными представлениями о некоторых базовых общеправовых ценностях (принципами или идеями) современного, по преимуществу, западноевропейского общества, таких как: верховенство права и законности, равенство всех и каждого перед законом, беспристрастность суда и др.

Учитывая вышесказанное, в рамках настоящего исследования юридический дискурс представляется целесообразным рассматривать как метасемиотическую систему, построенную на базе естественного языка. Термин «метасемиотическая система» призван подчеркнуть знаковый характер юридического языка. Он отражает то, что: 1) естественный язык является планом выражения юридических идей и ценностей, некой правовой реальности; 2) юридический язык является метапостроением для языка естественного, т.е. формализованным искусственным языком.

1.2. Стереотипность ритуального речевого поведения и вектор его семиотической эволюции

1.2.1. Некоторые психофизиологические и социальные предпосылки ритуального речевого поведения

Сегодня юридические тексты создаются и интерпретируются согласно формально-логическим правилам. Однако такой подход не учитывает тот факт, что право является неотъемлемой частью культуры. Актуальная правовая реальность наследников индоевропейской культуры – результат развития периодом в несколько тысячелетий. Языковая специфика юридического дискурса состоит в стереотипности правил, касающихся способов и условий создания, построения, применения и понимания перформативных высказываний, оформляющих судебные, следственные и бюрократические процедуры-ритуалы, и

в стереотипности значений терминов материального права, оформляющего объективные общественные отношения. Эта специфика в большинстве случаев не осознается как простыми людьми, которых касается закон, так и профессиональными юристами, создающими, применяющими и интерпретирующими его в соответствии с когнитивными сценариями и механизмами, обусловленными историческими лингвокультурными предпосылками.

Стереотипность языковых средств юридического дискурса является неизбежным следствием характера юридического познания объективной действительности. Основная функция юридического дискурса – регулирование общественных отношений реализуется через их нормирование, т.е. установление общеобязательных правил для участников правовых отношений.

Впервые разработанное социокультурное понятие стереотипа было представлено в 1922 году У. Липпманом (Walter Lippmann) в его знаменитой работе «Общественное мнение» (Public opinion). У. Липпман отмечает, что реальность слишком сложна, объёмна и текуча, чтобы человек на основании своего непосредственного опыта смог получить хотя бы частичное представление об одном из её фрагментов. То, что называют объективной реальностью, или «внешним миром» (the world outside), является не более чем совокупностью сформированных обществом образцов, или картинок в наших головах (the pictures in our heads) [Липпман 2004]. При этом редукция «Мира» в человеческом сознании неизбежна и даже полезна, поскольку только в этих готовых образцах возможно найти спасительный компромисс с ускользающей реальностью.

Таким образом, социальные стереотипы представляют собой предельно «сжатые» редуцированные образцы реальности, которые выполняют две основных функции:

- экономия усилий: «Мы не столько видим данного человека и данный закат, сколько замечаем, что данный предмет — это человек, а данное явление — это закат, а затем переключаем внимание в основном на то, что ассоциируется в нашем сознании с этими предметами. Это связано с экономией усилий. Ведь

попытка увидеть все вещи заново и в подробностях, а не как типы и способы обобщения, утомительна, а если вы очень заняты, то она практически обречена на провал» [Липпман 2004: 108];

- основной элемент картины мира, упорядочивающий и защищающий наше восприятие объективной реальности: системы стереотипов «представляют собой упорядоченную, более или менее непротиворечивую картину мира. В ней удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира может быть не полной, но это картина возможного мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди и предметы занимают предназначенные им места и действуют ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире как дома. Мы вписаны в него. Мы его составная часть. Нам известны все ходы и выходы. Здесь всё чарующе знакомо, нормально, надежно. Горы и овраги этого мира находятся там, где мы привыкли их видеть…Поэтому не удивительно, что любое изменение стереотипов воспринимается как атака на основы мирозданья. Это атака на основания нашего мира, и когда речь идет о серьезных вещах, то нам на самом деле не так просто допустить, что существует какое-то различие между нашим личным миром и миром вообще.

Система (pattern) стереотипов не является нейтральной. Это не просто способ замены пышного разнообразия и беспорядочной реальности на упорядоченное представление о ней. Не просто сокращенный и упрощенный путь восприятия. Это нечто большее. Стереотипы служат гарантией нашего самоуважения; проецируют во внешний мир осознание нами собственной значимости; защищают наше положение в обществе и наши права. Следовательно, стереотипы наполнены чувствами, которые с ними ассоциируются. Они — бастион нашей традиции, и, укрывшись за стенами этого бастиона, мы можем чувствовать себя в безопасности» [Там же: 108-109].

Представляется, что историческим базисом языковой основы правового поведения в индоевропейской культуре является биологическая потребность человека адаптироваться к окружающей его среде, реализующаяся, в частности, в

форме целесообразного стереотипного поведения членов социума, к которому этот человек принадлежит, то есть в форме ритуалов.

Нужно отметить, что в основании стереотипного поведения человека лежат объективные психофизиологические предпосылки, связанные с особенностями функционирования мозга. В отечественной научной литературе отмечается, что «в основу представлений русской физиологической школы о стереотипе легла способность мозга фиксировать однотипные изменения среды и соответственно реагировать на эти изменения» [Мерзлякова 2011: 34], а именно интегрировать под влиянием доминирующего параметра частные структуры, механизмы, процессы в комплексную организацию, действующую циклически и динамически. Центральным для данной школы являлось понятие, введённое И.П. Павловым, – «динамический стереотип», т.е. слаженная уравновешенная система внутренних процессов больших полушарий, соответствующая внешней системе условных раздражителей [Там же: 34]. Феномен динамического стереотипа является отражением ведущего принципа работы мозга – принципа системности, согласно которому на сложные комплексные воздействия мозг реагирует не как на ряд отдельных изолированных раздражителей, а как на систему. Стимулом для активизации всего образующего стереотип комплекса может стать любой компонент из группы прежних раздражителей.

Биологические и социально-культурные предпосылки ритуала как основанного на стереотипах поведения, выполняющего функцию поддержания единства сообщества, рассматривались Н. Тинбергеном, по мнению которого, социальные институты и средства социальной регуляции, обеспечивающие соблюдение традиций, базируются на общественных мнениях, основанных на сложившихся предрассудках в силу стереотипности мышления. Это путь от индивидуального сознания и поведения к социальным стереотипам [Кэмпбэлл 1979: 76-102].

Таким образом, если стереотип, выполняя адаптивную функцию человека, не реализуется в социокультурном контексте, проще говоря, не имеет социального смысла, он остается проявлением индивидуальной психики с целью

адаптации к окружающей его, в том числе социальной, среде, выполняя, главным образом, информационную функцию. Если же стереотип становится частью системы воспроизводства социальных ценностей, он начинает выполнять социорегулятивную функцию, в которой реализуются стратегии и сценарии поддержания социального единства сообщества. В обоснование нашей позиции по этому вопросу приведём тезис отечественного ученого, Ю.М. Плюснина.

«Процесс стереотипизации поведения есть освоение среды, ее организация и включение в «картину мира». Это требует усилий и напряжения. В то же время, выработанный и интернализованный стереотип приобретает новую функцию: он позволяет автоматически распознавать и предпочитать «своего в своем». Это есть функция регуляции взаимодействий между индивидами. В стереотипе эта функция вторична и выступает как подчиненная по отношению к функции адаптивной. Регулятивная функция стереотипа предъявляет к нему требования автономности и самоценности и потому, в известном смысле, противоречит его адаптивной функции.

Напротив, основная функция ритуального поведения, ритуала, — социорегулятивная…», связанная уже не с потребностями отдельного индивида, а с потребностями сообщества как целого, которые обеспечивает социорегулятивная подсистема социальной системы. «Непосредственным механизмом социорегулятивной подсистемы является институционализация — установление правил действий, норм, упорядочение поведения, регламентация. Достигается это с помощью ритуалов. Поэтому обеспечение ритуального поведения идет извне, со стороны социальной структуры, и на уровне индивида ритуалы интериоризируются через социализацию и энкультурацию (введение в культуру)» [Плюснин 1989].

Таким образом, ритуал является элементом негенетической памяти социума, способом формирования, хранения, трансляции и воспроизводства социально значимых ценностей, вокруг которых этот социум и образуется. Речевая деятельность по отношению к ритуалу, главным образом, выполняет две

функции: во-первых, описание ритуального поведения в дескриптивах; во-вторых, реализация ритуального поведения посредством перформативных актов.

Принцип «Innewelt «внутренний мир» – Umwelt «внешний мир»»: биосемиотические основания стереотипизации речевого поведения.

Возращаясь к психофизиологическим детерминантам стереотипности поведения человека, нужно отметить, что восприятие человеком, как биологическим организмом, внешней среды обусловлено, во-первых, его анатомией и физиологией (т.е. структурным планом организма), во-вторых – культурным пространством, в котором он родился и вырос. В биосемиотике зависимость образа мира, воспринимаемого организмом, от структурного плана его организации выражена в принципе Innewelt «внутренний мир» – Umwelt «внешний мир». Этот принцип можно назвать одним из оснований знакового поведения биологических организмов, в том числе и человека. В семиотике Umwelt понимается как субъективная среда, в которой находят отражение факты физического мира [Cunningham 1987]. Сам термин был заимствован из работ Якоба фон Икскюля, который в противовес распространённому в конце 19 – начале 20 столетия дарвинизму выдвинул идею о том, что совершенство организма определяется не его сложностью, а исполнением его «структурного плана» (Bauplan). При этом сами потребности организма создаются как следствие организации его структурного плана. «Из необозримого многообразия мира каждое животное выбирает, как бы «выкраивает», для себя то, что отвечает его собственной организации. Количество и связи выкроенных таким образом участков окружающего животного мира и создают внешний мир животного (Umwelt)…Произведённые этим внешним миром действия в организации животного, в особенности в его нервной системе, согласованные и упорядоченные его структурным планом, образуют в совокупности «внутренний мир» животного (Innewelt) [Проскурин 2005: 32] .

Как известно, человеческая психика, в отличие от психики животных, способна абстрагироваться от наличной, здесь и сейчас воспринимаемой ситуации посредством языка и анатомо-физиологического механизма речи.

Восприятие любой ситуации взаимодействия с окружающей средой, как у людей, так и у животных, сопровождается тем или иным психоэмоциональным фоном. При этом человеческое сознание обеспечивает возможность описания и запоминания воспринятой ситуации в знаках языка, которые образуют вербально-ассоциативную сеть. Резонно предположить, что если та или иная ситуация, возникающая в результате взаимодействия с окружающей средой, воспринимается членами данной социальной группы как успешная и значимая, то она сопровождается позитивным психоэмоциональным фоном торжества и, преломляясь через человеческое сознание, ассоциируется с теми или иными знаками (главным образом вербальными). Стремясь повторить свой успешный опыт в аналогичной ситуации, группа реализует те же стратегии, что и раньше. Возникающее при этом ощущение торжества, успешности и единства группы в дальнейшем, по-видимому, выдвигается на первый план, абстрагируясь, таким образом, от конкретной ситуации взаимодействия с окружающей средой. Теперь стратегии успешного взаимодействия закреплены в знаковом ритуальном поведении, и для достижения указанного ощущения достаточно воспроизведения условного прототипического сценария, реализуемого в знаковых телесных, вербально-телесных или же чисто вербальных актах. Как будет показано ниже, со временем, при многократном воспроизведении ритуала это ощущение пропадает, «выхолащивается»: сценарий становится конвенциональной процедурой, исполнив которую участники достигают конвенционального же эффекта.

Как отмечает Ю.В. Монич, в угрожающих ритуалах (например, боевой клич) при длительном отсутствии угрозы закономерно происходит возрастание внутренних конфликтов; ритуал при этом функционирует чаще и интенсивнее, стремясь удержать группу от распада. «Эта восстанавливающая единство функция не раз подчеркивалась исследователями ритуала в человеческой культуре…Факты отсутствия реального «врага» в ситуациях исполнения ритуала говорят о возросшей его символичности. Его денотатом являются уже прошлые ситуации, в которых группа совместными усилиями достигала каких-либо значимых завоеваний. В человеческой культуре это отразилось в

противопоставлении мифического сакрального времени текущему профанному, – в облеченных в ритуальную форму описаниях деяний богов, первопредков и культурных героев, задающих парадигму существующему миропорядку» [Монич 2000] .

Проявлением базового принципа биосемиотики – «Innewelt – Umwelt» – в сфере семиотики культуры является фундаментальное в индоевропейской культуре отношение «микрокосм – макрокосм». Как отмечает С.Г. Проскурин, «семиотический семантический принцип строится на фундаментальном отношении «микрокосм – макрокосм». В разделах семиотики – этносемантике или семиотике культуры – отношения человека и внешнего мира проецируются на область семантики и лексических значений» [Проскурин 2005: 33].

Как уже говорилось выше, свойство «огораживания» человеком «своего мира» от «чужих» есть биологически детерминированное свойство человеческой психики, проявление которого через культурную призму в каждом отдельном случае преломляется особым образом. Это связано с тем, что психика человека формируется и кристаллизируется в процессе социализации его личности. Так, одним из основных положений этнолингвистики и психолингвисти является идея о том, что «психика личности – это своеобразная модель общества, модель в том смысле, что психика личности – это хранительница культурно-национальных эталонов восприятия, мыслительной и орудийной деятельности, общения» [Леонтьев, Тарасов 1977: 53].

Поэтому вербальная категоризация объективной действительности членом того или иного этноса (социума) обусловлена теми или иными культурно-этническими стереотипами, ведь «поскольку в большинстве случаев человек имеет дело не с самим миром, а с его репрезентациями, с когнитивными картинами и моделями, то мир предстает сквозь призму культуры и языка народа, который видит этот мир» [Маслова 2001: 26].

1.2.2. Вектор семиотической эволюции ритуального речевого поведения в индоевропейской культуре по Ю.В. Моничу: феномен границы

Отечественным исследователем Ю.В. Моничем была предпринята интересная и, на наш взгляд, плодотворная попытка обоснования процесса мотивации семантического замещения «чистых» ритуальных, биологически релевантных символов условными языковыми.

Главной функцией ритуального поведения Ю.В. Монич называет структурирование и воспроизводство носителем ритуала своего жизненного пространства: «Как на биологическом, так и на культурном уровне ритуал предстает в качестве инструмента, посредством которого его носитель создает, структурирует и поддерживает (обороняет) свое жизненное пространство, «космос». То есть одна из важнейших функций ритуала может быть охарактеризована как регулирующая, или упорядочивающая. Результирующим продуктом этой функции является граница «своего» мира (линия обороны), находящая в человеческой культуре различные воплощения, что в языковых актах отражается главным образом в виде “ограды”» [Монич 2001: 191 – 192].

Выше уже отмечалось, что в индоевропейской культуре упорядоченное в ритуалах социокультурное пространство изначально мыслилось членами того или иного сообщества как «свое» в оппозиции к «чужому». Этот, по сути, культурный феномен имеет психофизиологические основания своей реализации: включенный в языковую картину мира стереотип позволяет автоматически распознавать и предпочитать «своего в своем».

Ю.В. Монич в своей работе «На стыке ритуала и языка: комплексная мотивация в семантической эволюции» определяет ритуал как результат семиозиса, характерного как для человека, так и для высокоорганизованных животных. «В самом широком понимании ритуал может быть представлен как проявление знакового поведения, наблюдающееся у целого класса самоорганизующихся систем: от сообществ животных до различных форм социальной жизни человека» [Монич 2001: 191 – 192].

Исследователь отмечает, что на ранней стадии активного зарождения языковой системы эта «граница своего мира» характеризуется в поведенческих реалиях, связанных с осуществлением и, соответственно, обозначением физических действий ритуального характера, направленных на упорядочивание и консолидацию, либо на разрешение той или иной ситуации конфликтного взаимодействия в сообществе «своих» (например, принесение в жертву, изгнание, сопровождающееся ударами, толчками или преследованием бегущего и т.д.), или же на взаимодействие «своих» с членами «чужого» сообщества. Одновременно в коннотациях соответствующей лексики фиксируется дополнительное значение, связанное с акцентом уже не на чувственно осязаемом фоне, но на эмоциональном или психологическом фоне наблюдателя действия.

Такие семантические «колебания» в ракурсах фиксации действия от значения биологически релевантного характера к символическому значению Ю.В. Монич отмечает в и.-е. «бытовой» лексике:

«русск. *зарить* ‘пристально смотреть’ и ‘заинтересовать, раздражать, возбуждать’, славянские рефлексы и.-е. **kar*-: болг *коря́* ‘порицаю’, *ка́рам* ‘погоняю, привожу в движение, управляю движением’, сербохорв. *кар* ‘укор, наказание’ и ‘забота’, др.-русск. *коръ* ‘оскорбление, брань’, польск. *kara* ‘кара’, русск. *кара*, *корить*, словен. *koriti* ‘наказывать’, польск. *korzyc* ‘унижать, смирять’, русск. *покорять*, *укорять*, словен. *karati* 'порицать, делать выговор’, чешск. *karati* ‘упрекать, укорять’…» [Монич 2001: 199].

Далее Ю.В. Монич отмечает, что в лексике «на более высоких ступенях ритуализации появляются особые коннотации». Возникающий при такой дифференциации значений тип связей исследователь характеризует как «ритуальный акт – его социально значимый результат», приводя в качестве примера семантический ряд: англ. *ban* ‘запрет, проклятие, анафема’, *banner* ‘знамя, стяг’, *banns* ‘оглашение имён вступающих в брак’, нем. *bann* ‘изгнание, объявление вне закона; обаяние, чары’, *banner* ‘знамя’ [Монич 2001: 199]. Смысловые связи этих слов свидетельствуют о том, что обозначаемое ими символическое вербально-ритуальное действие изначально относилось к

семантическому полю древних перформативов, которые заместили соответствующие физические действия (например, физическое преследование бегущего при изгнании), став условными комплексными знаками. Об этом, в частности, может свидетельствовать генетическое родство с протогерманской формой **bannan* ‘провозглашать, приказывать, запрещать’, возводимой, по мнению некоторых авторов, к и.-е. **bha-* ‘говорить’ [Onlain Etymology Dictionary].

При этом Ю.В. Монич замечает, что данным лексемам присуща амбивалентность значения, причем последнее изменяется в зависимости от социального положения участников того или иного коммуникативного акта: «Бесспорно, как знамя, так и вербальный акт являются яркими фигурами на общем фоне, но во что выльется вербальный акт – в проклятие-атаку или в торжественное провозглашение, – уже прямо зависит от социального положения адресата («свой», «враг» или «преступник»). Таким образом, интерпретация здесь прямо зависит от типа социальных отношений между коммуникантами» [Монич 2001: 199 – 200].

В качестве другого примера можно привести лат. *sacer* ‘священный, святой’, ‘магический, таинственный’, но в то же время ‘преданный в жертву богам’, ‘преданный проклятию’ (ср. *sacer esto*). Аналогичные семантические отношения обнаруживаются в русск. диал. *хаять* ‘заботиться’ и *хаять* ‘ругаться, осуждать’ (ср. с др.-в.-н. *swerian* ‘клясться, говорить определённо’, *svárati* ‘звучит, раздаётся; воспевает, восхваляет; сияет’, *svargá-* ‘небо’, *svaráyati* ‘придирается, ругает, порицает, воспевает, восхваляет’, русск. *свара* ‘ссора, вражда’, словен. *svariti* ‘порицать, предостерегать’).

Как отмечает М. Элиаде, «амбивалентность сакрального есть явление не только психологического порядка (в том смысле, что оно притягивает и отталкивает), но и порядка аксиологического; сакральное есть одновременно «священное» и «осквернённое…»; та же двойственность, что и в лат. *sacer*, «присутствует в греческом *hagios* (др.-греч. *ἅγιος*), которое может иметь значение одновременно и «чистоты» и «нечистоты». И с тою же амбивалентностью сакрального мы встречаемся у древних семитов и у египтян» [Элиаде 1999: 31].

В основе такого отношения к объектам, которые в соответствующей системе ценностей рассматриваются как сакральные, лежат представления о том, что является нормой природы и (или) социального устройства: при сильном отклонении объекта от этой нормы человек, как правило, испытывает сильное возбуждение, которое, в зависимости от характера действия объекта, может сопровождаться как страхом, так и восхищением (или страхом и восхищением одновременно), что отражается в поведении (в том числе и в речевом поведении) субъекта.

Рассматривая действие такого примитивного социального регулятора, как табу, М. Элиаде указывает, что «механизм табу всегда один и тот же: некоторые вещи, лица или места причастны совершенно иному онтологическому режиму, и поэтому контакт с ними производит смещение онтологического уровня, которое может оказаться фатальным…а проявления необычного и экстраординарного, как правило, вызывают страх и отстранение», что может иметь как положительный, так и отрицательный эффект [Элиаде 1999: 33-34].

Таким образом, существование такой ритуализованной лексики, которая может употребляться в двух несинонимичных, разных по смыслу значениях, даёт возможность говорить о существовании некой когнитивной границы, относительно которой эта лексика располагается в двух разных семантических зонах. Данная граница концептуализируется в соответствии с рассмотренными выше кореллирующими оппозициями «Свои vs. Чужие» / «Космос vs. Хаос», в которых, как было показано выше, репрезентируются представления о норме и порядке. Биологическими и социальными мотивами её появления, по-видимому, являются, с одной стороны, стремление той или иной группы оградить себя от внешних угроз, с другой стороны – потребность консолидации этой группы как единого целого.

Граница, в соответствии с которой отдельный человек или группа определяют своё жизненное пространство, является, по удачному выражению Ю.В. Монича, их «контуром взаимодействия» [Монич 2000] с внешней средой.

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ

Первая глава диссертации посвящена теоретическим основам и лингвокультурным предпосылкам исследования юридического дискурса в индоевропейской традиции.

Основываясь на том, что онтологической формой существования права является текст с выраженной прагматической составляющей, которая определяет особенности речевой семантики его составных значимых элементов, делается вывод о целесообразности рассмотрения права в лингвистической перспективе как особого типа дискурса, отражающего языковую картину правовой реальности.

Выделяются структурные (кратко рассматриваются три уровня правовой коммуникации – правотворческий, правоприменительный и прагматический) и содержательные (институциональность, социальная значимость сообщения, перформативность, кодом правовой коммуникации является естественный язык) особенности коммуникации, в которой реализуются право. С учётом данных особенностей, за которыми стоит особый тип юридического мышления, юридический дискурс понимается как, с одной стороны, воплощённая в дискурсивных практиках языковая картина правовой, с другой стороны, как единое коммуникативное пространство, которое создаётся и возобновляется в дискурсивных практиках, определяемых институциональным сообществом, с целью обеспечения функции социального контроля и общественного порядка.

В первой части первой главы диссертации были рассмотрены структурно-функциональные особенности реализации перформативных высказываний в юридическом дискурсе. В функционально-прагматическом аспекте юридический дискурс можно представить в качестве единого коммуникативного пространства, в котором реализуются перформативные высказывания-действия (performative utterances or performatives). Используемые при этом методы исследования характеризуются как лингвопрагматические и примыкают к центральному направлению теории речевых актов – к теории

перформативности в языке (Дж. Остин, Э. Бенвенист, Дж. Серль, Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова и др.).

1. В ходе исследования было показано, что юридический дискурс функционирует в перформативных высказываниях, направленных на создание и изменение объективной реальности, которая понимается и описывается, главным образом, как порядок.

2. Можно сказать, что в сегодняшних текстах основных законов государства выражен некий идеальный взгляд на построение и функционирование социального порядка. Описание этого социального проекта в тексте действующего закона всегда предполагает наличие в каждом из высказываний этого текста деонтической модальности, что придаёт ему характер волеизъявления, которое является общеобязательным для каждого адресата.

Таким образом, в актах правотворческой коммуникации интенция адресанта, направленная на создание и поддержание такого порядка, может быть определена как установление границ социального поведения для адресатов. На материале из правовых источников на русском (Конституция Российской Федерации 1993 года, Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 года), английском (Конституция Соединённых Штатов Америки 1787 года), немецком (Основной закон Федеративной Республики Германии 1949 года) и французском (Конституция Французской Республики 1958 года, Декларация прав человека и гражданина 1789 года) языках было показано, что контур этих границ проявляется в языке амбивалентно и описывается в определениях допустимого и не допустимого социального поведения, что раскрывается в речевой семантике соответствующих языковых средств, а также в иллокутивной структуре перформативных высказываний.

3. Проявление перформативности в юридическом дискурсе характеризуется иерархичностью соответствующих актов правовой коммуникации: условия, иллокутивные функции и цели осуществления перформативных высказываний на прагматическом и правоприменительном уровнях коммуникации определяются иллокутивными функциями и целями перформативных высказываний

правотворческого уровня коммуникации. Образно обобщая, можно сказать, что «строительство здания» предписанного социального порядка постоянно ведётся на уровне правоприменительного дискурса. Сами «строители» (ими, по сути, являются органы государственной власти, так как использование частными лицами своих прав невозможно без надлежащей охраны и обеспечения этих прав), как правило, строго ограничены в выборе «инструментария» (акты предписания, дозволения, запрета, предупреждения, декларации, удостоверения, фактические действия и др.), а в большинстве случаев не имеют такого выбора в силу предписаний закона (дискурсивных практик в терминах М. Фуко): ср. знаменитое высказывание Цицерона: *Magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum magistratum //* Магистрат есть говорящий закон, а закон есть немой магистрат.

4. Инструментарий юридического дискурса – это различные по своему характеру, целям и функциям перформативные высказывания, которые характеризуются следующими особенностями.

1. Социальная значимость: осуществление в юридическом дискурсе перформативного высказывания есть осуществление социально значимого действия.

2. Социально-ролевой характер саморепрезентации субъекта в юридическом перформативном высказывании: участие в той или иной юридической дискурсивной практике предполагает исполнение определённой социальной роли: адвоката, прокурора, судьи, истца, ответчика и т.д.

3. Стремление субъекта юридического дискурса к максимальному самоудостоверению в тексте правового акта: социальная значимость ролевого действия в юридическом дискурсе требует от лица, исполняющего ту или иную роль, максимально однозначного позиционирования своего «Я» в тексте соответствующего документа, что проявляется в стереотипизации языковых средств выражения саморепрезентации субъекта.

4. Интенциональная выраженность воли субъекта юридического перформативного высказывания: проявляется в осуществлении в актах юридического дискурса определённых иллокутивных функций.

5. Иерархичность.

6. Направленность юридических перформативов как в настоящее, так и в будущее время: в соответствии с этим можно условно выделить три интенциональные схемы юридических перформативных высказываний: «декларации→декларации» (перлокутивный эффект достигается в момент осуществления акта); «декларации → директивы» и «декларации → комиссивы» (перлокутивный эффект достигается после осуществления акта). Соответствующие перформативные высказывания можно назвать декларативными, директивными и комиссивными.

7. Обусловленность иллокутивных целей действующими дискурсивными практиками: каждое юридическое перформативное высказывание должно встраиваться в систему действующих правил, которые определяют пути и возможности достижения поставленных целей.

8. Стереотипность языковых средств выражения: обусловленность иллокутивных целей актов правовой коммуникации действующими дискурсивными практиками определяет стереотипизацию языковых средств выражения соответствующих перформативных высказываний; направленность предписаний законодательных актов на установление границ социально значимого поведения для всех обязанных лиц и постоянная воспроизводимость этих предписаний на уровне правоприменительного и прагматического дискурсов ведёт к неизбежной клишированности и стереотипности языковых средств, выражающих соответствующие перформативные высказывания.

9. Институциональность: осуществление юридических перформативных высказываний так или иначе связано с участием субъекта в дискурсивных практиках, в которых выражаются общественные иерархии и отношения власти.

10. Ценностный характер целей юридических перформативов: в основе механизма правового регулирования всегда лежат некие ценности, которые сегодня, как правило, декларируются в Основном законе государства или Конституции, а также в международно-правовых документах. Поскольку юридическое перформативное высказывание является социально значимым

действием, сама возможность его совершения отражает ценностные установки, лежащие в основе действующего позитивного права.

Во второй части первой главы диссертации на материале различных индоевропейских языков было показано, что перформативное знание, которое определяет языковую картину правовой реальности, отражает стереотипные представления о правовом порядке, в основе которых лежит феномен концептуальной границы, упорядочивающей человеческое поведение в соответствии с принципом разделения на «своих» и «чужих».

1. В частности, выдвигается предположение о том, что **механизм стереотипизации юридического дискурса в индоевропейской традиции действует по следующей схеме**.

1.1. Саморепрезентация субъекта в юридическом дискурсе предполагает принятие на себя определённой конвенциональной роли, или лица – заявителя, ответчика, истца, продавца, покупателя, президента, доверителя и т.д., что обусловлено существованием в юридическом дискурсе сценарных нормативных процедур, которые часто носят выраженный ритуальный характер.

1.2. Инсценировка в правовых процедурах и ритуалах объективированных норм и ценностей позволяет постоянно воспроизводить в сообществе соответствующие смыслы, которые, в силу своего надрационального характера, с течением времени начинают восприниматься сообществом как «естественные» и «правильные», как общие для всех чувства.

1.3. Тем самым у сообщества формируется стереотипное восприятие последующих аналогичных ситуаций с точки зрения уже усвоенных символов, концентрирующих эти смыслы.

1.4. Таким образом, создаётся упорядоченное структурированное сообщество законопослушных граждан (не отождествляемое со всем обществом), которые обладают перформативным знанием о возможностях достижения в юридическом дискурсе поставленных целей, а также о границах, которые следует соблюдать при осуществлении социально значимого поведения. Тех, кто своими действиями нарушает такой порядок, данное сообщество осуждает и

воспринимает как «преступников», «опасных для общества лиц», «врагов», «чужих», нарушивших границы «мира».

2. По результатам анализа данных латинского, древнегреческого, русского и французского языков; древнегерманских и германских языков; языков индоиранской группы, репрезентирующих представления о праве и о «порядке» в различных культурах и в различных эпохах, в рамках подходов и с помощью методов, содержащихся в работах Э. Бенвениста, Ю.С. Степанова, С.Г. Проскурина, Ю.В. Монича и других исследователей, утверждается, что в основании данных представлений, дифференцирующих человеческое поведение в соответствии с оппозицией «нормальное vs. ненормальное», основанной на семантическом противопоставлении «закон (право) vs. преступление» (ср. «гражданская община vs. преступное сообщество»), лежат механизмы стереотипизации, мотивированные культурными оппозициями «свой vs. чужой» и «космос vs. хаос», имманентно свойственными индоевропейской культуре. Формирование и концептуализация данных оппозиций соответствует эпохе «предправа», когда действующий инструмент упорядочения социальной действительности – перформатив – реализовывался в ритуалах, репрезентирующих мифопоэтическую космологическую картину мира.

В третьей части первой главы диссертации *юридический дискурс рассматривается как метасемиотическая система.* В основу понимания юридического дискурса как метасемиотической системы положены концепции и идеи, содержащиеся в работах Ю.С. Степанова и С.Г. Проскурина.

1. Юридический дискурс в индоевропейской традиции представляет собой культурно обусловленную метасемиотическую систему (юридический язык), построенную на базе естественного языка (естественный язык является планом выражения юридических идей и ценностей, некой правовой реальности).

В ходе исследования было показано, что терминам и понятиям права имманентно свойственна речевая семантика, так как границы своего значения они обретают в конвенциональных перформативных актах на различных уровнях правовой коммуникации.

Однако также стоит учитывать, что значения юридических терминов, будучи даже «жёсткими дефинициями», проявляются на общем лексическом и культурном фонах, составляя, таким образом, правовые концепты. Понимание юридических терминов, входящих в то или иное высказывание, является обусловленным когнитивными механизмами категоризации и стереотипизации, в основе которых лежит социокультурный опыт субъекта этого высказывания. Поэтому терминам и понятиям права также свойственна и языковая семантика, фиксирующая их существенные признаки, что позволяет исследовать их семиотическую эволюцию как концептов правовой культуры.

2. На примере лат. формул *ius ducere* и *sacer esto*, а также на примере явления деперсонификации юридического дискурса было показано, что семиотическая эволюция концептов правовой культуры, как правило, характеризуется ослаблением интенсивности содержательного признака (или признаков) на уровне означаемого и проявляется в преемственности его означающего (или означающих).

Соответственно, делается вывод о том, что динамика и характер развития юридического дискурса как метасемиотической системы обеспечивается знаковыми отношениями между активно изменяющимся планом содержания, состоящим из юридических идей и ценностей, воплощенных в значениях слов, словесных выражений и текстов; и консервативным, фактически не изменяющимся планом выражения, представленного языковыми средствами объективации юридического дискурса.

ГЛАВА 2. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «ДВИЖИМОЕ VS. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» В ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

2.1. Асимметрия в семантических оппозициях юридического дискурса: особенности реализации и предпосылки возникновения

Как известно, человеческое сознание распознаёт те или иные значимые формы вербальных и невербальных явлений как «структуры, обладающие значениями, частично благодаря воспринимаемому различию, встроенному в их физическую оболочку, будь то минимальная разница в звучании, тональности, форме и т.д.» [Данези 2010: 61]. Термин «оппозиция» введён в науку В. Вундтом и Э.Б. Титченером, впервые отметивших психологическую значимость подобных структурных особенностей.

Идея оппозиций была выработана в фарватере структурной лингвистики первой половины 20 в., основоположником которой, как известно, был Ф. де Соссюр, считавший функцию различения и различия внутренним свойством любой знаковой структуры: «в языке нет ничего, кроме различий. Вообще говоря, различие предполагает наличие положительных членов отношения, между которыми оно устанавливается. Однако в языке имеются только различия без положительных членов системы. Какую бы сторону знака мы ни взяли, означающее или означаемое, всюду наблюдается одна и та же картина: в языке нет ни понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой системы» [Соссюр 1999: 120].

Как известно, учение об оппозициях было развито в работах двух выдающихся представителей Пражской лингвистической школы Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона.

Н.С. Трубецким была создана и подробно разработана теория фонологических оппозиций. Под фонологической оппозицией сам создатель теории понимал «противоположение звуков, которое в данном языке может

дифференцировать интеллектуальные значения» [Трубецкой 1960: 41]. В основе фонологической оппозиции лежит идея о том, что «любая единица языка должна содержать звуковые признаки со смыслоразличительной функцией, иначе ее нельзя будет отличить от других единиц языка. Различение языковых единиц осуществляется исключительно с помощью таких звуковых признаков, наделенных смыслоразличительной (дистинктивной) функцией» [Трубецкой 1960: 37]. Н.С. Трубецкой особо выделял так называемые «привативные оппозиции», «один член которых характеризуется наличием, а другой отсутствием признака, например «звонкий — незвонкий», «назализованный — неназализованный», «лабиализованный — нелабиализованный» и т.д. Член оппозиции, который характеризуется наличием признака, называется «маркированным», а член оппозиции, у которого признак отсутствует,— «немаркированным» [Там же: 82-83].

Показанные Н.С. Трубецким способы и правила функционирования фонологических корреляций были восприняты и развиты Р.О. Якобсоном на морфологическом уровне. Р.О. Якобсон обратил внимание на то, что оба члена фонологической корреляционной пары неравноправны: «один член обладает соответствующим признаком, другой им не обладает; первый определяется как признаковый (маркированный), второй – как беспризнаковый (немаркированный). Это же определение может служить основанием для характеристики морфологических корреляций. Вопрос о значении отдельных морфологических категорий в данном языке постоянно вызывает сомнения и разногласия среди исследователей языка.

Чем объясняется большинство этих колебаний? Рассматривая две противопоставленные друг другу морфологические категории, исследователь часто исходит из предпосылки, что обе эти категории равноправны и каждая из них обладает свойственным ей положительным значением: категория I означает A, категория II означает B, или по крайней мере категория I означает A, категория II означает отсутствие, отрицание A. В действительности же общие значения коррелятивных категорий распределяются иначе: если категория I

указывает на наличие А, то категория II не указывает на наличие А, иными словами, она не свидетельствует о том, присутствует А или нет. Общее значение категории II сравнительно с категорией I ограничивается, таким образом, отсутствием "сигнализации А". Если в определенном контексте категория II все же сигнализирует отсутствие А, то это является лишь одним из употреблений данной категории: значение здесь обусловлено ситуацией; и даже если такое значение является самой обычной функцией данной категории, исследователь, тем не менее не должен отождествлять статистически преобладающее значение категории с ее общим значением» [Якобсон 1985: 210 – 211].

Противопоставление категории I и категории II, по выражению Р.О. Якобсона, является асимметрией коррелятивных форм, которая «может быть охарактеризована как антиномия сигнализации А и несигнализации А. Два знака могут относиться к одной и той же предметной данности, но значение одного знака фиксирует известный признак А этой данности, тогда как значение другого знака оставляет этот признак неупомянутым. Например, ослица может быть обозначена как словом *ослица*, так и словом *осел*. При этом подразумевается один и тот же предмет, только во втором случае значение гораздо менее уточнено» [Там же: 220].

В современной филологической науке понятие «асимметрия» применяется для анализа оппозитивных отношений на всех уровнях языка. В общем ассиметричными принято называть «оппозиции, один член которых характеризуется наличием, а другой – отсутствием признака…» [Тарланов 1995: 79], или, один член которых является маркированным, второй – немаркированным.

Теория маркированности в дальнейшем стала также применяться для анализа семантических оппозиций. Однако здесь уже нельзя обнаружить более или менее общей точки зрения, которую разделяло бы научное сообщество. Так как предмет настоящего исследования можно, в общем, отнести к сфере лингвокультурологии, а методологию, в общем, – к историко-генетическому, историко-концептуальному и сравнительно-историческому подходам,

представляется целесообразным сделать акцент на оппозициях и, соответственно, маркированности единиц плана содержания, главным образом, на уровнях слов/словосочетаний, а также отдельных высказываний, относящихся к юридическому дискурсу и характерных для индоевропейской культуры.

Рассматриваемые семантические оппозиции, даже будучи универсальными общекультурными (в рамках индоевропейской культуры) константами (как, например, рассмотренная выше оппозиция «Свои vs. Чужие»), имеют специфический культурно обусловленный контекст своей языковой реализации. Равным образом различаются и отношения между членами аналогичной оппозиции в различных культурах. Например, если в английском языке различие между мужчиной и женщиной до недавних пор нейтрализовалось грамматическими и лексическими средствами в стандартных речевых ситуациях в сторону мужского пола (ср. *sportsman, businessman* (стандартная ситуация) *vs. sportswoman, businesswoman* (нестандартная ситуация); *doctor* (стандартная ситуация) *vs. female doctor* (нестандартная ситуация)), то «в языке ирокезов немаркированным является женский пол, в то время как формы мужского пола отмечены специальным префиксом. Эта грамматическая система, несомненно, явилась результатом того, что сообщество ирокезов матрилинейно – традиционно женщины владеют землёй, передают её своим наследницам по женской линии, ответственны за сельскохозяйственную продукцию, руководят состоянием, организовывают браки и т.д. Язык ирокезов отражает контекстную реальность посредством назначения большего статуса тем, кто находится в центре сообщества – в данном случае – женщинам» [Данези 2010: 92 – 93]. Из представленных М. Данези примеров видно, что приведённая выше оппозиция характеризуется асимметрией: признак женского маркируется на фоне форм стандартного мужского пола.

Маркированность на семантическом уровне напрямую связана с восприятием человеческим сознанием реальности и имеет психофизиологическую основу. В научной литературе отмечается, что на нейропсихологическом уровне немаркированный член семантической оппозиции, как правило, детерминирован

естественностью, когнитивной лёгкостью его восприятия и воспроизведения и как следствие, частотой тех или иных форм и конструкций, в которых он реализуется [Фэнк-Оцлон 2002]. Это связано с более высокой частотой употребления немаркированных форм по сравнению с маркированными: «семантическая немаркированность и высокая частота использования обычно совпадают» [Там же].

Д. Чандлер отмечает, что немаркированная форма является, как правило, доминантой и, следовательно, кажется «нейтральной», «нормальной» и «естественной». Являясь, таким образом, прозрачной, она не привлекает внимание к своему невидимому привилегированному статусу, в то время как отклонение маркированных форм от неё бросается в глаза. Таким образом, между терминами «Немаркированное / Маркированное» и терминами «Нормальное / Отклоняющееся» можно поставить знак равенства. Примечательно, что эмпирические исследования демонстрируют, что когнитивные процессы с маркированными терминами являются более трудозатратными, чем с немаркированными терминами. Для того, чтобы распознать и обработать маркированные формы, требуется более длительное время, и с этими формами совершается больше ошибок [Chandler 1994].

Нужно отметить, что хотя семантическая маркированность и может сопровождаться формальной, то есть морфологической маркированностью (например, лат. оппозиция *res mobilis vs. res immobilis* ‘движимое имущество vs. недвижимое имущество’ маркируется префиксом *im-* со значением отрицания признака) или дистрибутивной маркированностью (так как формально маркированные термины имеют тенденцию иметь более ограниченный диапазон контекстов, в которых они встречаются [Lyons 1977, 306-307]), для определения члена семантической оппозиции как маркированного или немаркированного необходимо, главным образом, выяснить его когнитивную значимость по отношению к другому члену оппозиции.

Это связано с тем, что немаркированный член семантической оппозиции, как правило, является когнитивно более базовым понятием по сравнению с

маркированным членом. Например, в асимметричной семантической оппозиции *tall vs. short* ‘высокий vs. низкий’, рассмотренной Дж. Лакоффом, tall задаёт когнитивно более базовое измерение, выступая в нейтральных контекстах:

«Например, тот, кто спрашивает *How tall is Harry* ‘Какой рост у Гарри?’, *букв.* ‘Насколько высок Гарри?’, не предполагает, что Гарри высок ростом; но тот, кто спрашивает *How short is Harry* ‘Насколько низок Гарри?’, предполагает, что у Гарри низкий рост. Только один из членов пары *tall – short* может выступать в нейтральном значении, а именно *tall*. Поскольку *tall* появляется в случаях нейтрализации противопоставления, оно рассматривается как немаркированный член оппозиции *tall – short*. Соответственно, «высокость» понимается как когнитивно более базовое понятие, чем «низкость», и именно слово, обозначающее когнитивно базовое измерение, выступает в нейтральных контекстах» [Лакофф 2004: 89].

Таким образом, понятие (смысл), которое выражает немаркированный член оппозиции, является своеобразным когнитивным фоном (ground), на котором проявляется «фигура» смысла маркированного члена [Battistella 1990: 4], или, выражаясь в терминологии Р.О. Якобсона, осуществляется сигнализация признака маркированного члена. Сходная мысль прослеживается у Д. Чандлера: «В паре оппозиций или противоположностей член В определяется более относимостью, чем субстантивностью. Во многих из этих пар лингвистическое маркирование означающих указывает на отсутствующий признак, что выражается в суффиксах и префиксах, обозначающих недостаток или отсутствие – e.g. *non-*, *un-* or *–less*». В этих случаях член В определяется отрицанием, будучи всем тем, чем термин А не является» [Chandler 1994].

Асимметричные семантические оппозиции отражают представление о реальности и обусловливают способ её восприятия, так как за ними «стоят» культурно-обусловленные модели человеческого мышления и поведения, порождающие прототипический эффект того члена оппозиции, который в силу тех или иных историко-культурных причин является базовым когнитивным измерением дифференцирующего признака. Как отмечает Дж. Лакофф: «В

целом маркированность является понятием, используемым лингвистами для того, чтобы описать некоторый вид прототипического эффекта – асимметрию в категории, когда один из членов субкатегории рассматривается как в некотором отношении более базовый, чем другой (или другие)» [Лакофф 2004: 89].

Дж. Лакофф под источниками прототипических эффектов понимал идеализированные когнитивные модели, которые представляют собой культурно-детерминированные когнитивные схемы или сценарии, обусловливающие процессы категоризации окружающего мира человеческим сознанием и мышлением.

В Главе I настоящего исследования было показано, что социальное поведение человека обусловлено стереотипными схемами и образцами, выработанными в ходе исторического развития того или иного сообщества. Социальные стереотипы в конкретную историческую эпоху определяют культурные ожидания её современников, а следовательно, и способ категоризации ими действительности.

Так, стереотип «все чужие – враги» характеризует наилучшие примеры категории «чужих», которые соответствуют данному стереотипу (например, славяне для византийцев, что проявилось в визант. форме *Σκλαβοί* ‘раб’, значение которой мотивировано частыми военными конфликтами). Исходной точкой, фоном, на котором определяются «чужие» является понятие «свои», поскольку концептуализация «своих» связана с представлением членов сообщества о мире и своём месте в этом мире, которое отделено границей от «чужого» мира. Таким образом, в основе семантической оппозиции «Свои vs. Чужие» лежит понятие «Мир», которое первоначально понималось как «огороженное пространство», следовательно, первый член оппозиции является немаркированным, а второй – маркированным.

Важно отметить, что существование оппозиций и явление маркированности – это не просто структурная особенность семиотических систем. За семантическими оппозициями в языке стоят два среза социальной реальности: синхронный, показывающий этнические, национальные, религиозные, гендерные,

правовые различия в социуме относительно доминирующей системы ценностей в соответствующей сфере; и диахронный, показывающий предпосылки, генезис, развитие и причины актуального состояния этих различий. К. Вудворд утверждает, что «именно через маркированность...различий создается и поддерживается социальный строй» [Woodward 1997: 33].

Как было показано в Главе 1 настоящего исследования, основанием осмысления правовой реальности в индоевропейской культуре было представление о мире как об упорядоченном огороженном пространстве «своих» («космос»): демаркация концептуальной границы, отделяющей «мир» (по умолчанию – «мир своих») от «чужих» («хаос»), изначально свойственна человеческому сознанию. В конкретном историко-культурном контексте эта «граница» обусловливает контур социального взаимодействия как с представителями других культур, так и в рамках «своей» культуры. Выше были рассмотрены стереотипные сценарии и способы языковой реализации семантической оппозиции «Свои vs. Чужие» в рамках индоевропейской культуры. Демаркация концептуальной границы в правовой реальности – это изначальная функция жрецов, очерчивающих «прямые линии» (regere fines) в сакральных перформативных актах, разграничивая и нормируя социальное пространство.

Как было показано ранее, перформативные ритуально-правовые акты, помимо огораживания социального пространства «своих» (гражданской общины), выполняют также функцию «расчерчивания», «раскраивания» «полотна» этого социального пространства. Важно отметить, что основной функцией этого «расчерчивания» является регулирование социальных отношений путём установления запретов, предписаний или же дозволений для их участников: прагматика высказывания здесь определяет семантику входящих в него членов.

Для того чтобы акт правовой коммуникации был успешен, каждый член соответствующего высказывания должен иметь чёткие границы своего определения: воля адресанта (предписать, запретить или дозволить) должна быть безошибочно донесена до адресата. Осуществляя категоризацию в юридическом языке, каждый задаёт примерно один и тот же вопрос: соответствует ли объект X

юридическому понятию У? И если объект Х юридическому понятию У не соответствует, то принимается, что объект Х не имеет существенного признака, который позволил бы отнести его к такому понятию. Таким образом, сталкиваясь с категоризацией в юридическом языке, каждый из нас неизбежно мыслит в рамках семантических оппозиций.

Особый интерес представляют те семантические оппозиции, члены которых являются системообразующими понятиями в соответствующей отрасли права (или права вообще) и имеют кросс-культурную многолетнюю историю своей языковой реализации в юридическом дискурсе: например, «*гражданин vs. государство», «право vs. закон»*, «*закон (право) vs. преступление»*, *res* (‘вещи’) *vs. personae* (‘лица’), *«правоспособность vs. неправоспособность», «вина vs. невиновность», «истец vs. ответчик» и др*. К таковым, в частности, относится семантическая оппозиция «*движимое имущество vs. недвижимое имущество».*

2.2. Реализация семантической оппозиции «движимое имущество vs. недвижимое имущество» в юридическом дискурсе французского, немецкого, английского и русского языков

Разделение вещей на движимые и недвижимые в странах романо-германской и англосаксонской систем права является одним из важнейших оснований их классификации. В соответствии с культурно-исторической дифференциацией национальных правовых систем различаются и языковые способы реализации семантической оппозиции «*движимое имущество vs. недвижимое имущество».*

Так, сегодня во французском юридическом дискурсе каждый из членов семантической оппозиции *biens meubles vs. biens immeubles* является понятийным инвариантом и, в то же время, совокупностью вариантов, связанных друг с другом парадигматическими отношениями эквивалентности.

Семантическая структура термина «*biens meubles»*, содержащегося в действующей редакции Французского гражданского кодекса [Code civil des Français], состоит из двух основных тематических групп.

1. *Les meubles par leur nature* ‘движимое имущество по своей природе’. В рассматриваемую тематическую группу входят те предметы, которые могут изменять место своего нахождения (*«…qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre…»* (Code civil des Français. Art. 528) [Code civil des Français]).

Данная группа включает в себя две подгруппы (*«…soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère…»* (Code civil des Français. Art. 528) [Там же]), выделяемые на основании семантического дифференциального признака «способность к самостоятельному передвижению»:

а) предметы, которые способные передвигаться сами по себе (*qui peut se mouvoir par lui-même*), например, животные (*les animaux*);

б) неодушевлённые предметы, которые способны передвигаться лишь под воздействием внешней силы (*qui peut être changé de place par l'effet d'une force étrangère*).

Необходимым свойством объектов категории *les meubles par leur nature* также является возможность физического и (или) экономического отделения предметов от земельного участка (ср. ниже с *immeubles par destination*).

2. *Les meubles par détermination de la loi* ‘движимое имущество в силу закона’: к этой категории, например, относятся долговые обязательства и иски, которые имеют своим предметом уплату денежных средств либо право (права) на движимое имущество (*«…les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers…»* (Code civil des Français. Art. 528) [Там же]).

Семантическая структура термина «*biens immeubles»*, содержащегося в действующей редакции Французского гражданского кодекса, состоит из трёх основных тематических групп [Там же].

1. *Les immeubles par leur nature* ‘недвижимое имущество по своей природе’ (Art. 518-521, 523 du code civil): а) земли и строения (*les fonds de terre et les bâtiments*); б) ветряные и водяные мельницы, закрепленные на опорах и составляющие часть строения (*les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment*); в) жатва на корню, не снятые с деревьев плоды (*les récoltes*

pendantes par les racines et les fruits des arbres); г) трубы, используемые для доставки воды в дом или в иную наследуемую недвижимость (*les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre heritage*).

2. *Les immeubles par destination* ‘недвижимое по назначению’ (Art. 522, 524 du code civil): а) рабочий скот, сдаваемый собственником фермеру или иному арендатору для сельскохозяйственных нужд (*les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture*); б) сельскохозяйственный инвентарь (*les ustensiles aratoires*); в) семена, переданные фермеру или арендатору фермы (*les semences données aux fermiers ou métayers*); г) голуби в голубятнях (*les pigeons des colombiers*); д) кролики в норах (*les lapins des garennes*); е) пчелиные ульи (*les ruches à miel*); ж) рыба в прудах (*les poissons des eaux*); з) винные давильни, котлы, дистилляционные аппараты, чаны и бочки (*les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes*); и) фабричный инвентарь (*les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines*); к) солома и удобрения (*les pailles et engrais*); л) также являются недвижимым имуществом все движимые вещи, которые собственник навсегда присоединил к земельному участку (*sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure*).

3) *Les immeubles par application* ‘недвижимое имущество по объекту приложения’ (Art. 526 du code civil): а) узуфрукт недвижимого имущества (*l'usufruit des choses immobilières*) б) сервитуты или земельные повинности (*les servitudes ou services fonciers*); в) иски, связанные с недвижимым имуществом (*les actions qui tendent à revendiquer un immeuble*).

Как видно из приведенного выше текста, оппозиция *biens meubles vs. biens immeubles* представляет собой иерархическую структуру. В основании находится оппозиция базового уровня (то есть задающая базовое когнитивное измерение) – *les meubles par leur nature vs. les immeubles par leur nature*, разграничивающая материальные объекты в соответствии с семантическим дифференциальным признаком «возможность передвижения/перемещения с сохранением собственной субстанции». На этом базисе надстраиваются: а) оппозиция *les meubles par leur*

nature vs. les immeubles par destination (семантический дифференциальный признак – «физическая и хозяйственно-экономическая связь с земельным участком»); б) *les meubles par détermination de la loi vs. les immeubles par application* (семантический дифференциальный признак – «объект приложения»).

Таким образом, в Гражданском кодексе Франции в основе разделения вещей на движимые и недвижимые лежит объективный физический критерий – «характер физической связи с землёй», однако на более высоком уровне социально-экономических и правовых отношений и, соответственно, категоризации, он уступает место функциональному или социально-экономическому критерию, что, по-видимому, связано со стремлением землевладельцев распространить правовой режим недвижимого имущества на любые вещи, которые его непосредственно обслуживают.

Оппозиция *mobilien (bewegliche sachen) vs. immobilien (unbewegliche sachen),* которая имеет место в немецком юридическом дискурсе, также основывается на семантическом дифференциальном признаке «возможность передвижения/ перемещения с сохранением собственной субстанции». Однако смысловая структура данной оппозиции реализуется в тексте закона не путём определения составляющих её членов (термины «*mobilien (bewegliche sachen)»* и *«immobilien (unbewegliche sachen)»* специально не дефинируются в тексте Германского гражданского уложения (нем. Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), а в результате репрезентации юридически значимых отношений объекта базового уровня категории *immobilien (unbewegliche sachen)* – земельного участка – с иными объектам этой категории, а также с объектами категории *mobilien (bewegliche sachen).*

В основе семантической структуры нем. термина «*immobilien (unbewegliche sachen)»* лежит синтагма, образованная по типу отношений «часть – целое» – «главная вещь» (*hauptsache*) и её «составные части» (*Bestandteile einer sache*). В немецком юридическом дискурсе одна вещь признаётся составной частью другой вещи, если её отделение невозможно без того, чтобы какая-либо из них не была разрушена или изменена в своей сущности – такие вещи не могут быть объектами

отдельных прав: *«Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein»* (§ 93 BGB) [Bürgerliches Gesetzbuch].

Применительно к оппозиции *mobilien (bewegliche sachen) vs. immobilien (unbewegliche sachen),* главной вещью является земельный участок (*Grundstück*). При этом объекты, являющиеся составными частями земельного участка, могут быть отнесены к категории *immobilien (unbewegliche sachen*) только в том случае, если они обладают таким признаком как «прочная связь с землёй». В то же время специально подчёркивается, что вещи, связь которых с землёй носит временный характер, не принадлежат к составным частям земельного участка в принципе: *«Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind»* (§ 95 BGB) [Bürgerliches Gesetzbuch].

Объекты, прочно связанные с земельным участком, характеризуется в законе как его «существенные составные части» (*wesentliche Bestandteile*). К ним относятся (§ 94, 96 BGB) [Bürgerliches Gesetzbuch]: 1) строения (*Gebäude*); 2) урожай на корню («*…die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden zusammenhängen»* // продукты земли (земельного участка), пока они соединены с почвой (пока они связаны с землёй)); 3) семя – с момента его посева, растение – с момента его посадки («*Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstücks»*); 4) права, связанные с правом собственности на данный участок («*Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks»*). Остальные *sachen* относят к категории *mobilien (bewegliche sachen).*

Таким образом, структура семантической оппозиции *mobilien (bewegliche sachen) vs. immobilien (unbewegliche sachen)* может быть представлена как *«immobilien (unbewegliche sachen) = Grundstücke + wesentliche Bestandteile eines Grundstücks vs. mobilien (bewegliche sachen) = alles andere sachen».*

В юридическом дискурсе стран англосаксонской правовой семьи соответствующая семантическая оппозиция *movable property vs. immovable property* применительно к конкретным ситуациям эксплицируется редко: термины «movable» и «immovable» применяются английскими судами, как правило, в тех случаях, «когда речь идет об отношениях с «иностранным элементом», регулируемых международным частным правом» [Виноградов 2008: 13].

Гораздо более широко представлена оппозиция *real property vs. personal property*, дифференцирующая имущество по признаку «форма правовой защиты»: «к реальному (*real property*) относят имущество, в отношении которого может быть предъявлен так называемый реальный иск – иск о восстановлении владения, тогда как персональным является имущество (*personal property*), защищаемое персональным иском, направленным на получение денежной компенсации» [Васильев, Комаров 2004: 319]. На глубинном уровне данная оппозиция мотивирована представлениями об уникальности (и, соответственно, ценности) одного вида имущества – земельного владения, со всеми находящимися на нём принадлежностями (*real*) *estate* ‘поместье, имение’), в отношении иного имущества, которое в случае утраты можно заменить аналогичным (*chattels personal* ‘личное имущество’) (поэтому в первом случае право пострадавшей стороны может быть восстановлено только путём возврата того же имущества, во втором случае предполагается, что компенсация за утраченное имущество восстанавливает нарушенное право).

При этом базовым объектом категории *real property (estate)* является земельный участок, а всё, что с ним прочно связано, составляет принадлежности земли – *fixtures* (ср. с отношениями категорий *Grundstücks* и *wesentliche Bestandteile eines Grundstücks* в немецком юридическом дискурсе). Так, в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии «Закон о собственности 1925 г. определяет, что право собственности на земельный участок (*freehold* – авт. прим.) включает в себя право на все, что находится под почвенным слоем, воздушное пространство над ним, а также все принадлежности этого участка, однако на разработку полезных ископаемых, содержащихся в этом

участке, необходимо получение дополнительной лицензии, а над воздушным пространством над участком существует право свободного пролета» [Гришаев 2007].

Таким образом, базовый уровень категоризации понятий, являющихся членами оппозиции *real property vs. personal property*, совпадает с базовым уровнем рассмотренных выше оппозиций французского и немецкого юридических дискурсов: для *real property* центральным объектом является земельный участок, а объекты, относящиеся к категории *personal property* определяются по остаточному принципу. При этом в семантической структуре термина *real property*, как и в аналогичных рассмотренных выше французских и немецких терминах, реализуются отношения «главная вещь (*land*) и её принадлежности (*fixtures*)». Например, в законодательстве Соединённых Штатов Америки «основу недвижимого имущества составляет земля, которая включает не только ее почвенный слой, но и все объекты, которые с ней прочно связаны. При этом речь идет об объектах, созданных как природой, так и руками человека, и которые находятся как под землей, так и на поверхности. К недвижимости также относится растительность, которая не требует ежегодной сельскохозяйственной обработки, получившая название *fructus naturals* (деревья, кустарник, многолетние травы). Растения, которые выращиваются человеком и каждый год вынимаются им из земли, относятся к движимому имуществу. Таким образом, выделяют три компонента недвижимого имущества: собственно землю, растительность и принадлежности к земле (*fixtures*)» [Гришаев 2007].

Структура семантической оппозиции *'real property vs. personal property'* может быть представлена как *«Real property = real estate = land + fixtures vs. Personal property (chattels personal = all other things)»*.

В тексте действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) языковая реализация оппозиции «движимое имущество vs. недвижимое имущество» также имеет свои особенности. С одной стороны, в семантической структуре термина «недвижимое имущество», как и в рассмотренных выше примерах, реализуются синтагматические отношения

«главная вещь и её принадлежность» («земля» + «всё, что прочно связано с землёй»): «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства» (п. 1 ст. 130 ГК РФ) [Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I]. С другой стороны, к недвижимым вещам также относятся «подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество» [Там же].

Термин «недвижимое имущество» на уровне официального российского юридического дискурса был впервые употреблён в тексте Указа Петра I от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (далее – Указ 1714 г.). Однако каких-либо существенных признаков, по которым можно было бы отнести те или иные объекты к этому понятию, Указ не содержит: «*Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженых и купленых вотчин и поместей, также и дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращатися оным в род таким образом*» (Ст. 1 Указа 1714 г.) [Чистяков 1986: 296]. В результате анализа текста Указа и осмысления социально-исторических условий его принятия можно сделать вывод о том, что цель создателей документа состояла в объединении ранее существовавших в официальном языке категорий («вотчина» и «поместье») в одну общую категорию – *недвижимые вещи* или *недвижимое имение*, в которой, по-видимому, мыслились земельные участки с расположенными на них «принадлежностями» – домами, зданиями, строениями, сооружениями, дворами, лавками и т.д. Категория же «движимое имущество» употребляется в тексте Указа 1714 г. в значении «иное имущество».

В Сводѣ Законовъ Россійской Империи (далее – Свод Законов 1832 г.), изданном в 1832 г., постулируется, что «имущества суть недвижимыя или движимыя» (ст. 383 Свода Законов 1832 г.), однако определения данных видов имущества в тексте Свода Законов 1832 г. не даётся. Как и в Указе 1714 г.,

содержание понятия раскрывается лишь включением в его экстенсионал (объём) наименований объектов [Свод Законов Россійской Империи 1912: 34]:

- *земли и всякія угодья*;

- *домы* (под которыми понимались «земельные участки со строениями, предназначенными для жилья» [Чубаров 2006: 12]);

- *заводы и фабрики*, т.е. земельные участки со строениями, предназначенными «для целей обрабатывающей и горно-заводской промышленности» [Там же: 12]);

- *лавки* (рассматриваемые как торговые помещения с находящейся под ними землей [Там же: 12]);

- *всякія строенія* («различного рода подземные и наземные сооружения, находящиеся в непосредственной связи с землей и составляющие ее принадлежность; в случае прекращения такой связи, когда строение при его сносе превращается в строительный материал, оно перестает быть недвижимостью» [Виноградов 2008: 15]);

- *пустыя дворовыя мѣста* (земельные участки под постройку домов [Чубаров 2006 12]);

- *желѣзныя дороги* (имеется в виду земельный участок (полоса отчуждения) с расположенными на нем железнодорожными сооружениями [Там же: 12]).

На базовом уровне категоризации наименования соответствующих объектов (земельных участков и зданий: недвижимых имений, заповедных наследственных имений, домов, фабрик и заводов) недвижимого имущества связываются с наименованиями своих «принадлежностей» в синтагмы по типу отношений «часть – целое», в юридическом дискурсе – «главная вещь» и её «принадлежность». Например, ст. 386 Свода Законов 1832 г.: «*Принадлежности населенных земель суть: состоящія на нихъ церковныя и другія строенія, дворы, мельницы, мосты, перевозы, плотины и гати*» [Свод Законов Россійской Империи 1912: 34].

Движимое имущество определяется также через перечисление примерного перечня входящих в объём понятия объектов: «*Движимыя имущества суть:*

мореходныя и рѣчныя суда всякого рода, книги, рукописи, картины и вообще всѣ предметы, относящееся къ наукамъ и искусствамъ, домовые уборы, экипажи, земледѣльческія орудія, всякаго рода инструменты и матеріалы, лошади, скотъ, хлѣбъ сжатый и молоченный, всякіе припасы, выработанныя на заводахъ, наличныя руды, металлы и минералы, и все то, что изъ земли извлечено» (Ст. 401 Свода Законов 1832 г.) [Свод Законов Россійской Империи 1912: 34]. Если для категории *недвижимыя имущества* представлен закрытый перечень объектов, то перечень *движимых имуществ* определялся нечётко. При этом В.И. Синайский указывает, что в науке того времени «движимость определялась отрицательным путем – как все, что не составляет недвижимое имущество» [Синайский 2002: 129]. Для категории недвижимых вещей базовым объектом с наиболее определённым юридическим статусом являлся земельный участок, что подтверждается материалами судебной практики и многочисленными теоретическими работами учёных того времени [Чубаров 2006: 12].

В 1922 году был принят Гражданский кодекс (ГК) РСФСР который окончательно упразднил в советском законодательстве деление имущества на движимое и недвижимое [Новицкая 2002: 73] вплоть до 1990 года (24 декабря 1990 года – дата принятия Закона «О собственности в РСФСР»).

Таким образом, как в Своде Законовъ Россійской Империи, так и в ныне действующем Гражданском кодексе Российской Федерации обнаруживаются те же структурные особенности семантической оппозиции «движимое vs. недвижимое имущество», что и в законодательстве других рассмотренных выше стран:

1) объём понятия «движимое имущество» определяется совокупностью тех вещей, которые не входят в строго определённый объём понятия «недвижимое имущество», что может быть выражено формулой «вещь, которую нельзя отнести к категории «недвижимое имущество» должна быть отнесена к категории «движимое имущество»;

2) наименования базовых объектов категории «недвижимое имущество», главным образом, земельного участка, связаны с наименованиями их

«принадлежностей» («существенных составных частей») синтагматическими отношениями по типу «часть – целое»;

3) базовым объектом категории «недвижимое имущество» является земельный участок;

4) «недвижимое имущество» является маркированным членом семантической оппозиции «*движимое имущество vs. недвижимое имущество»*, что проявляется, в том числе, и на формальном морфологическом уровне: префикс *im-* в латинском, французском, немецком и английском языках (применительно к термину *«immovable property»*) и *не-* в русском языке имеют одно и то же значение – отрицание признака (-ов). Способ определения движимых вещей «по остаточному принципу» – «все вещи, кроме тех, которые относят к недвижимым» – говорит о «фоновом» характере рассматриваемого понятия: на «фоне» многочисленных движимых заменяемых вещей подчёркивается значимость, малочисленность, индивидуальность и особенность вещей недвижимых.

Принято считать, что нынешнее разделение вещей на движимые и недвижимые в юридическом дискурсе стран романо-германской и англосаксонской правовых семей зародилось в юридическом дискурсе Древнего Рима и обозначалось формулой – *res mobilis vs. res immobilis.* Однако, как будет показано ниже, эта формула имела особые лингвокультурные предпосылки и условия своей языковой реализации, которые во многом отличались от семантических оснований последующего разделения вещей по общему дифференциальному признаку «возможность перемещения».

2.3. Историко-генетический анализ лингвокультурных предпосылок и мотивов появления семантической оппозиции res mobilis vs. res immobilis

Формула (семантическая оппозиция), классифицирующая сегодня материальные объекты (вещи) с помощью семантического дифференциального признака «возможность перемещения имущества» на «движимые» и

«недвижимые», имеет очень древнее происхождение. При этом смыслы данной формулы на разных исторических этапах и в различных культурах представлены в разных формах, образуя, как будет показано ниже, некую закономерность.

Долгое время те материальные объекты (например, скот), которые сегодня были бы отнесены к категории «движимое имущество», являлись для древних индоевропейских народов единственными символами богатства и благосостояния.

Недвижимое имущество в его нынешнем понимании получило своё осмысление и закрепление в языковом сознании гораздо позже, что объясняется отличием способов обладания недвижимой вещью и движимой вещью, а также уровнем развития института частной собственности в обществе: «чувство частной, индивидуальной принадлежности вещей впервые появляется, без сомнения, по отношению к вещам движимым; недвижимость же… первоначально находилась в том или ином коллективном обладании» [Андреев 1955: 143].

Наиболее древней формулой, выражающей идею могущества, богатства и власти, воплощённую во владении и распоряжении имуществом, является, по-видимому, и.-е. ***uiro-peku-*** (авест. *pasu vira*, умбр. *uiro pequo*). Так, Э. Бенвенист убедительно показал, что авестийское *vira* в формуле *pasu vira* следует понимать как «составную часть движимого имущества, причём человек иногда включается в *pasu*, а иногда упоминается отдельно» [Бенвенист 1995: 52]. В подтверждение экономической важности *pasu* (скота) для древнего скотоводческого общества Э. Бенвенист приводит два весомых аргумента.

1. Высказывание Заратустры из Авесты: «Я знаю, почему я бессилен, о Мазда; это из-за того, что я *kamna-fsu* (= у меня мало *pasu*) и потому что я *kamna-nar* (= у меня мало людей)» [Бенвенист 1995: 52]. Как видно из приведённого отрывка, свидетельством бессилия Заратустры является недостаток *fsu* (в значении *pasu*) и *nar* (в значении *vira*), а следовательно, их обилие – свидетельство власти и могущества.

2. В то же время древний индоиранский термин *ksu* (к которому, по-видимому, восходит авест. *fsu*) сохранил первоначальный экономический смысл значимости *pasu*, не связанный с обладанием скотом: так, «прилагательное

«*puruksu* значит «полный богатства и имущества», но не в специфическом смысле, связанном с владением со скотом; это эпитет богов Агни, Индры и Сомы, который часто ассоциируется со словами, обозначающими «богатство» [Бенвенист 1995: 53].

Таким образом, древняя индоевропейская форма **uiro-peku-* представляет собой синтагму, обозначающую понятие более высокого яруса («богатство», «движимое имущество»), не сводимую к «сумме» двух понятий нижнего яруса («люди» и «скот»). Очевидно, что синтагматическая связь **uiro* и **peku*, наиболее отчетливо явствующая в авестийской формуле *pasu vira*, свидетельствует о приравнивании человека к скоту в экономическом смысле, который понимался как объект власти и элемент богатства в древней индоевропейской культуре. Так, по мнению Э. Бенвениста, значением *vira* в формуле *pasu vira* является ‘раб’, ‘слуга’, ‘челядь’ [Бенвенист 1995: 53]. Однако, как будет показано ниже, первоначальное значение и.-е. **peku* не имело никакой связи со скотоводческой лексикой.

Наиболее поздним свидетельством существования древней индоевропейской формы **uiro-peku- ,* по-видимому, является сочетание *fe enguz* или **faihu* **iggws*, представляющее последовательность имен 23-й и 24-й букв в готском алфавите [Степанов, Проскурин 1993: 158].

При этом нужно учитывать, что первоначальным и исключительным значением готского **faihu* являются ‘деньги’, ‘богатство’, ‘состояние’, ‘владение’. Скот в значении «стадо» обозначался словами *wripus, hairda*, а овца – словами *agele, lamb* [Бенвенист 1995: 57].

В то же время, как свидетельствует Э. Бенвенист, значение индоевропейской формы **peku* варьируется в других древнегерманских языках:

1) в северногерманском первичным значением формы *fe* является ‘богатство, имущество’; так, выражение *gangandi fe*, буквальное значение которого ‘богатство на ногах, скот’, ясно показывает, что изолированное употребление *fe* изначально не имело коннотаций, связанных со скотоводческой лексикой;

2) в древнеанглийском первичным значением формы *feoh* является также ‘богатство’, ‘имущество’, которое в дальнейшем специализируется в значениях ‘скот’, ‘товары’, ‘драгоценности’, ‘деньги’.

Таким образом, в готском значение **faihu*, в отличие от других древнегерманских языков, не специализировалось до обозначения скота. Семантическое окружение слова *faihu* – «это слова, обозначающие деньги и богатство: *gabei* ‘богатство’…*silubr* ‘деньги, серебро’…*skatts* ‘монета, мина’ [Бенвенист 1995: 57].

Поэтому, в отличие от авестийской формы *pasu vira*, где скот и люди являются главными составными частями имущества, являющегося показателем чьего-либо богатства, синтагматическая связь *fe* и *enguz* (**faihu* и **iggws*) в готском алфавите несёт в себе иное значение. Слово *faihu* «совершенно чуждо скотоводческой лексике» [Бенвенист 1995: 57]. Оно обозначает богатство, деньги само по себе и в каких либо дополнениях для выражения этого значения не нуждается.

Представляется, что в рассматриваемой последовательности имен 23-й и 24-й букв в готском алфавите заложены смысловые отношения, соответствующие представлениям о неразрывной связи владельца с объектом владения. Таким образом, можно предположить, что через **faihu* отражался не только экономический, но и социальный статус человека в готском обществе, что соответствовало представлениям о богатстве того времени.

Нужно отметить, что представление о богатстве в форме бинома, элементы которого связаны синтагматическими отношениями, не было характерным для всех индоевропейских языков. В некоторых из них встречаются смысловые оппозиции, элементы которых (лексемы) связаны между собой парадигматическими отношениями. Представляется, что наличие таких оппозиций является доказательством различной социальной и экономической ценности групп материальных объектов, которые, однако, вместе обозначают богатство в целом, всё имущество.

Так, в греческом языке эпохи Гомера встречается формула *κειμήλιά τε πρόβασίν τε*, дословно ‘имущество лежачее, неподвижное и имущество передвигающееся’, которая, в общем, обозначает ‘богатство’ [Бенвенист 1995: 49]. Как свидетельствует Э. Бенвенист, probasis (*πρόβᾰσις*) является производным на *-ti- (-τι-)* от глагола probainō (*προβαίνω*) ‘продвигаться вперед’ и означает совокупность того, что называется probata (*πρόβατα*) ‘то, что продвигается вперед’ [Бенвенист 1995: 49]. В приведённой формуле *κειμήλιά τε πρόβασίν τε πρόβατα* обозначает, в буквальном смысле, ‘имущество на ногах’, ‘имущество передвигающееся’ или ‘живой инвентарь’ [Дворецкий 1958].

Слово *κειμήλιά* представляет собой форму множественного числа *κειμήλιον* ‘ценность’, ‘сокровище’, ‘бережно хранимое достояние’ и является производным от глагола *κεῖμαι*, основным значением которого является ‘лежать, покоиться’. Таким образом, буквальное значение *κειμήλιά* – ‘лежачее (точнее, покоящееся) имущество’, которое могла обозначать что-то бережно хранимое, оберегаемое, ценное для человека того времени. Применительно к деньгам одним из значений *κειμήλιά*, вероятно, является ‘вложенное, внесенное имущество’ или же ‘имущество, которое можно внести или вложить»’. Например, при употреблении совершенной формы *κεῖται* от глагола *κεῖμαι* в высказывании: *πολλά χρήματα ἐπι τη τούτου τραπέζη κεῖται* // много денег вложено в его меняльную лавку [Дворецкий 1958].

Таким образом, у *κειμήλιά* можно выделить общее значение, которое описывается такими семами, как ‘ценность’, ‘возможность накопления’, ‘хранение’, и значение специализированное, сугубо экономическое – ‘имущество, которое можно внести или вложить’, т.е. которое выполняет функцию денег, как, например, в приведенном выражении ‘*πολλά χρήματα ἐπι τη τούτου τραπέζη κεῖται’*.

Представляется, что трактовка Э. Бенвенистом значения *κειμήλιά* в формуле *κειμήλιά τε πρόβασίν τε* как ‘драгоценные металлы в слитках, золото, медь, железо’ необоснованно сужает экстенсионал (объем) соответствующего понятия. По-видимому, др.-гр. *κειμήλιά* в формуле *κειμήλιά τε πρόβασίν τε* обозначала некую совокупность материальных объектов, имеющих экономическую значимость в

гомеровском обществе и способных к накоплению. Решающим для рассматриваемой синтагмы является именно факт того, что имущество «лежит», т.е. находится в покое и не имеет собственной воли к передвижению, т.е. является неодушевленным.

Др.-гр. *κειμήλιά* по смыслу можно сблизить с др.-рус. словом *добро* в значении ‘имущество’, фр. *biens*, лат. *bonorum*, англ. *good*, нем. *gut*, что может быть подтверждено таким выражением, как *αγαθά κείμενα εις ετη πολλά* ‘многолетние запасы добра’ [Дворецкий 1958], где *αγαθά κείμενα εις* дословно переводится как ‘добро в покоящемся/лежачем состоянии’.

Таким образом, формула *κειμήλιά τε πρόβασίν τε* является, с одной стороны, синтагмой, которая в гомеровском обществе обозначала ‘богатство’. С другой стороны, элементы этой формулы связаны парадигматическими отношениями в семантической оппозиции ‘*κειμήλιά* vs. *πρόβασίν*’, в основе которой лежат два дифференциальных признака: «возможность самостоятельного передвижения», «возможность накопления, хранения», «ценность». Можно предположить, что в основе этой оппозиции лежит более глубокая смысловая линия, разделяющая объекты на одушевленные и неодушевленные, при этом первые, как живые организмы, способны передвигаться, расти, воспроизводить себе подобных и, следовательно в прямом смысле этого слова не способны к хранению и накоплению.

Слово *κειμήλιά* в узком смысле обозначает ценное имущество, выполняющее функцию денег, т.к. обыкновенно накоплению и сохранению подлежат ценные вещи (неслучайно одним из значений *κειμήλιά* является ‘сокровище’). В широком смысле слово *κειμήλιά* обозначает всё имущество, которое не является одушевленным и может тем или иным образом хранится, представляя ценность для своего обладателя.

Если описывать формулу *κειμήλιά τε πρόβασίν τε* в современных терминах, то она является дифференцированным обозначением движимого имущества, хотя более корректно говорить о единстве имущества «на ногах» (одушевленного

«имущества на ногах») и «лежачего» имущества (неодушевленного, но «способного» к физическому перемещению и передаче) в значении «богатство».

Сходные основания дифференциации объектов, мыслимых в понятии «имущество», как будет показано ниже, встречаются в классической и постклассической латыни, на которой написано большинство юридических памятников древнеримского государства. Так, в знаменитом учебнике римского права (приблизительно II в. н. э.), Институциях, один из самых знаменитых юристов Древнего Рима Гай, характеризуя юридическую категорию «манципируемые вещи» (*res mancipi*), относит к ней вещи движимые (*res mobiles*) и те, которые приводятся в движение собственной силой (*res moventes*): *«Item ex mobilibus et mouentibus mancipi sunt serui atque ancilae et ea animalia mansueta, quae collo dorsoue domantur, qualia sunt boues, equi, muli, asini»* (Gai. II. 15) [GAI INSTITVTIONVM] // К движимым вещам и тем, которые приходят в движение собственною силою, принадлежат в качестве res mancipi: рабы, рабыни, четвероногие и укрощенные человеком ручные животные, как, например, быки, лошади, мулы и ослы [Дыдынский 1997: 88].

В основе оппозиции *res mobiles vs. res moventes* лежит, по-видимому, противопоставление по семантическому дифференциальному признаку «наличие души»:

«Ulpianus. Quae specialis in rem actio locum habet in omnibus rebus mobilibus, tam animalibus quam his quae anima carent, et in his quae solo continentur» (Dig. 6.1.1.1) [DIGESTA] // Ульпиан. После исков, которые относятся к совокупности, следует иск об истребовании отдельных вещей. Этот специальный вещный иск (actio in rem) имеет место в отношении всех движимых вещей, *как живых, так и тех, которые лишены души*, и вещей, которые соединены с почвой.

Именно в классической латыни впервые употребляется форма res mobiles, которая позже была калькирована в языки большинства стран, входящих в романо-германскую правовую семью, в результате рецепции римского права (ср. англ. *moveble property*; фр. *fortune mobilière, biens meubles, propriété mobilière*; нем. *mobilien*; исп. *bienes mobiliarios, mueble*; итал. *beni mobili, proprietà mobiliare* и

т.д.). Нужно отметить, что латинское слово *res* в юридическом дискурсе обозначало любые материальные и нематериальные объекты (например, право требования), которые представляли для их владельца имущественную ценность.

Однако приведенная форма *res mobiles* появляется лишь во II вв. н. э. в Институциях Гая (Gai. II. 15). На более раннем этапе развития древнеримского общества и государства разделения вещей на движимые (*mobiles*) и недвижимые (*solo continentur* ‘связанные с землёй’, позднее – *immobiles*), в современном понимании, не существовало.

Имущество дифференцировалось в соответствии с иным принципом – «*familia-pecunia»*, связанным с существованием в архаическом римском обществе института семейной собственности, предшествовавшего частной собственности. В соответствии с этим принципом все имущество являлось достоянием не отдельного человека, но семьи, в которую он входил.

Семья (familia) понималась как некий комплекс прав, характеризующих статус домовладыки (pater familias) в отношении вещей (res) и рабов, а также подвластных лиц (personae): *«Familiae» appelatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur»* (D. 50. 16. 195. 1) [Дигесты Юстиниана, 2005, 500-502]. В случае если какая-либо из вещей, входящих в *familia*, вовлекалась в систему волевых отношений, т.е. становилась объектом юридических актов, эта вещь относилась к иной категории – *pecunia*.

При этом нужно отметить, что категория *pecunia* не могла применяться в то время к объектам недвижимого имущества, потому как вся земля являлась общественным достоянием (*ager publicus*) и не воспринималась древними римлянами как имущественный объект, которым pater familias мог бы распорядиться по собственной воле. Следовательно, категория pecunia могла относиться только к движимому имуществу, вовлеченному в систему волевых отношений участников экономического оборота.

В римском праве разделение вещей на *familia* и *pecunia* является наиболее древним. При этом, если категория familia является характеристикой статуса домовладыки (pater familias), то pecunia указывает на его распорядительные

полномочия в отношении имущества, входящего в семейный комплекс [Дождев 2000: 341].

Таким образом, в плане содержания familia как юридической категории, характеризующей статус pater familias, можно выделить два основных дифференциальных семантических признака: отношение домовладыки к вещам (res) и его отношение к personae (лицам: рабам и подвластным). По отношению к вещам familia буквально означает ‘домашнее хозяйство’ [Степанов 2004: 728], по отношению к лицам – социальную структуру, образованную родственными либо чисто властными отношениями (положение рабов в семье так и характеризуется – *in potestate*), во главе которой стоит *pater familias* как *persona sui iuris* (т.е. как лицо, никому не подвластное) с властными полномочиями к *personae alieri iur*is (т.е. лицам, находящимся в чужой власти).

Значение же категории «pecunia» складывается вокруг основного семантического признака, или архисемы, «экономическая значимость», с которой прямо связаны семы «богатство» и «личное имущество». Pecunia в оппозиции к familia — это «имущество (из состава familia), вовлеченное в систему волевых отношений с другими лицами, членами других семейных групп. Так, раб называется «*pecunia*», когда он выступает объектом сделки его господина с другим домовладыкой, тогда как рабы, занятые в хозяйстве, именуются «*familia*». При этом, «вещь, в отношении которой уже был совершен распорядительный акт, сохраняет определения, относящиеся к familia, — в качестве объекта, определяющего личный статус» [Дождев 2000: 341]. Полное отчуждение вещи значило бы попадание в зависимость от другого домовладыки.

Показательно, что в архаическую эпоху статус familia, распространённый на семейное имущество, нивелировался только при полном прекращении существования этой familia как ячейки римского общества, что отражалось в номинации этого семейного имущества. Так, в Законах Двенадцати таблиц (450-451 вв. до н. э.) имущество, поступившее во власть агнату (родственнику по отцу), получает номинацию «familia», что означает полный переход семейной собственности от умершего pater familias к его агнату. Такой переход был

возможен при строгом соблюдении ряда условий: «*Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus* ***familiam*** *habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles* ***familiam*** *habento»* (XII tab. 5) [Leges XII tabularum] // «Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе [его] ближайший агнат. Если [у умершего] нет агнатов, пусть [оставшееся после него] хозяйство возьмут [его] сородичи» [Садиков 2005: 64].

Даже если *pater familias* не мог приобретать своими действиями какие-либо права или принимать обязанности, например в силу безумия, он оставался *persona sui iuris*, лицом никому не подвластным, что отражалось в употреблении лексемы *pecunia* при обозначении имущества, переходящего во власть куратора (агната) безумца (*curator furiosi/agnatus*). Следовательно, *curator furiosi* приобретал власть лишь над оборотным (*pecunia*), но не семейным имуществом или домашним хозяйством (familia): «*Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*» [Leges XII tabularum] // «Если человек впал в безумие, то пусть власть над ним самим и над его имуществом возьмут его агнаты или его дальние родственники» [Садиков 2005: 64].

По-видимому, за указанными дифференцированными значениями стоит «изначальное представление о некоем нерасчлененном единстве лиц и вещей», которое «было свойственно не только римлянам, но и древним и архаическим обществам вообще» [Смирин 1988: 18].

Таким образом, можно согласиться с Д.В. Дождевым, что pecunia, в оппозиции к familia, при обозначении имущества «выражает индивидуализированное распорядительное полномочие в оппозиции к статичной подвластности вещи общественной единице (семейству или всей общине)» [Дождев 2000: 341].

Со временем типичным значением *pecunia* становятся ‘деньги’ как универсальный обменный эквивалент, который не сводился к *numeratum* ‘монетам’: *«Pecuniae» verbum non solum numeratum pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae*

*appellatione contineri nemo est qui ambiget (Ulpianus)» // «*Слово «деньги» означает не только монеты, но и вообще всякое платёжное средство, то есть всякого рода телесный предмет, ведь никто не сомневается в том, что понятие «деньги» включает в себя также и телесные предметы» (Dig. 50.16.178) [Дигесты Юстиниана 2005: 498 – 499]**.**

Такое же значение pecunia фиксируется в более раннем памятнике, Институциях Гая, при предоставлении льготы по Корнелиеву закону на уплату долговой суммы (*credita pecunia*): «*appellatione autem pecuniae omnes res in ea lege significantur; itaque et si uinum uel frumentum et si fundum uel hominem stipulemur, haec lex obseruanda est»* (Gai. III. 124) [GAI INSTITVTIONVM] // «Термином pecunia обозначаются в этом законе все предметы. И если мы стипулируем вино, хлеб или землю, или раба, то следует обратить внимание на этот закон» [Дыдынский 1997: 218 – 219].

В то же время в наследственных отношениях термин «pecunia» иногда сохранял прежнее значение имущества, вовлеченного в систему экономических отношений посредством последнего волеизъявления pater familias в завещании (*testamentum*), в отличие, к примеру, от res, означающей любой материальный или нематериальный объект, который может иметь реальную или потенциальную ценность для обладателя: *«Rei» appelatio latitor est quam «pecuniae», quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continent, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt* (Paulus)» // «Термин «вещь» шире, чем термин «имущество», так как содержит и то, что у нас имеется помимо унаследованного от отца имущества, тогда как значение термина «имущества» относится только к тому, что мы имеем в унаследованном от отца имуществе» (Dig. 50.16.5) [Дигесты Юстиниана 2005: 450 – 451]**.**

Представляется, что значение *patrimonium* в приведенном высказывании следует переводить на русский язык более точно как ‘унаследованное от отца имущество по завещанию’, так как слово pecuniae указывает на индивидуальное изъявление отца, каковым в данном контексте может являться лишь завещание (ведь завещание – это не что иное, как односторонняя сделка).

При этом указанное значение восходит ещё к Законам Двенадцати таблиц. Индивидуальная воля, направленная на распоряжение семейным имуществом, актуализирует значение «pecunia»: «*Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto*» [Leges XII tabularum] // «Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего домашнего имущества или относительно опеки [над подвластными ему лицами], так пусть то и будет ненарушимым» [Садиков 2005: 64].

С другой стороны, если распоряжения о наследстве нет, семейное имущество именуется как «familia»: «*Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto*» [Leges XII tabularum] // «Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив распоряжения о наследстве, то пусть его хозяйство возьмет себе (его) ближайший агнат» [Садиков 2005: 64].

Что касается категории familia, то со временем её значение, применительно к имуществу, стало размываться. В предклассическую эпоху familia теряет определенность значения и становится частью бинома *familia pecuniaque*, который употреблялся, главным образом, при составлении завещаний со значением «все имущество семьи». Например, в Gai. II. 104**:** «FAMILIAM PECVNIAMQVE TVAM ENDO MANDATELA TVA CVSTODELAQVE MEA ESSE AIO» [GAI INSTITVTIONVM] // «Я утверждаю, что все имущество семьи по квиритскому праву находится под твоим распоряжением и моим надзором» [Дыдынский 1997: 112 – 113]. Со временем *familia*, в контексте наследственных отношений, приравнивается в своем значении к *patrimonium*, т.е. к наследственному имуществу, отчине:

«Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libram agitur: qui enim neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is, si subita morte urguebatur, amico ***familiam suam, id est patrimonium suum****, mancipio dabat eumque rogabat, quid cuique post mortem suam dari uellet»* (Gai., II, 102**)** [GAI INSTITVTIONVM] // Позднее вошел в обычай третий род завещаний – посредством весов и меди. Если кто не составил завещания ни в куриатных собраниях, ни на поле сражения, то, в случае, если ему неожиданно стала

угрожать смерть, он передавал в манципиационной форме другу (постороннему лицу) свое **семейство, т.е. свое имущество**, и просил его распределить имение согласно его последней воле [Дыдынский 1997: 112 – 113].

Подводя итог, нужно сказать, что pecunia, на своем базовом уровне значения, есть личное имущество, для которого принципиальна возможность вовлечения в хозяйственный оборот, что свидетельствует, в содержательном плане, о генетической связи рассматриваемого слова с и.-е. *peku. Нужно отметить, что данная связь имеет место и на словообразовательном уровне. Как показал Э. Бенвенист, форма *pecunia* является дериватом от и.-е. **peku*, образованного либо с помощью ст.-слав. суффикса *–ynji* (**unia*), маркирующего в старославянском абстрактные существительные, либо «*pecunia* – абстрактное существительное на – *ia*, образованное в латинском от призводных на – *nus* / *-na*, наподобие *portunus*, *fortuna* или, в крайнем случае, на базе форм женского рода на **-ni*» [Бенвенист 1995: 54]. В первом случае он постулировал связь *pecunia* с древним прилагательным, отличным от формы *pecu*, во втором – деривацию от формы среднего рода *pecu* посредством суффиксации.

Так или иначе, значение и.-е. **peku* не могло быть связано с сигнификатом какого-либо отдельного предмета, т.к. его основа – это принципиальная возможность группы материальных предметов быть объектами экономических отношений, а латинская форма *pecunia* представляет абстрактное родовое имя, объединяющее различные виды имущества, обладающих этим свойством. При этом, как было показано выше, такое имущество до возникновения развитых правовых отношений могло быть только движимым; его участие в обороте было связано с индивидуальным волеизъявлением полноправного владельца, и в этом смысле pecunia – личное имущество.

Таким образом, наиболее древней языковой единицей, имеющей значение «личное имущество», «богатство», является и.-е. **peku*. Это значение устойчиво фиксируется в древней индоевропейской формуле **uiro-peku*, которая является результатом употребления **peku* в реалиях скотоводческого общества, что привело к специализации и.-е. корня по линии «личное имущество» - «скот».

Синтагматическая связь **uiro* и **peku*, наиболее отчетливо явствующая в авестийской формуле *pasu-vira*, свидетельствует о приравнивании человека к скоту в экономическом смысле, который понимался как объект власти и элемент богатства в древней индоевропейской культуре. При этом люди и скот долгое время оставались объектами базового уровня для категории «личное имущество» в сознании древних индоевропейцев.

С развитием земледелия и ведением оседлого образа жизни скот (или раб, челядь как «двуногий скот», в авест. *pasu*) перестает быть единственной формой богатства. Появляется потребность накопления и сохранения уже нажитого. Эти исторические тенденции отразились в гомеровской формуле *κειμήλιά τε πρόβασίν τε* (приблизительно 8 в. до н. э.).

Формула *κειμήλιά τε πρόβασίν τε*, с одной стороны, является синтагмой, которая в гомеровском обществе обозначала «богатство». С другой стороны, элементы этой формулы отражают парадигматические отношения в семантичекой оппозиции *'κειμήλιά vs. πρόβασίν'*, основанием которой являются дифференцирующие признаки: «возможность самостоятельного передвижения», «возможность накопления, хранения», «ценность». Значимость такого подразделения имущества в античной культуре доказывается существованием в древнеримской правовой традиции аналогичной оппозиции '*res moventes vs.res mobiles'* (Институции Гая, II в. до н. э.).

Отражением исторической закономерности перехода от семейной (коллективной) формы собственности к частной является латинская оппозиция *familia vs.pecunia* (первое зафиксированное употребление датируется 5 в. до н.э.). Установлено, что pecunia, в оппозиции к familia, — это «имущество (из состава familia), вовлеченное в систему волевых отношений с другими лицами, членами других семейных групп, более того, для которого принципиальна возможность вовлечения в имущественный оборот».

Со временем pecunia специализировалась до обозначения функции денег или любых предметов, которые могут выступать как средство обращения и платежа.

С разложением семейной собственности в юридическом дискурсе для обозначения имущества повсеместно распространяется более универсальный термин res, который в сочетании с прилагательным mobilis обозначает современную форму «движимое имущество», калькированную во многие языки стран романо-германской правовой семьи.

Учитывая сказанное выше, можно предположить, что синтагматические отношения *res* + *mobilis* являются не случайными, но мотивированными архисемой ‘экономическая значимость, богатство’ и связанной с ней семой ‘включенность или вовлекаемость в оборот’ **peku* и его производного *pecunia,* ранее употреблявшихся в значении ‘личное имущество’.

Возможно, в языковом сознании древних римлян отражена та тонкая грань между движимым и недвижимым имуществом, которую мы не можем осознать сегодня, а именно: движимые вещи потому так называются, что способны передвигаться вместе с людьми. Распоряжение ими связано с их перемещением, т.е. с их физической передачей новому владельцу, поэтому движимые вещи постоянно потенциально включены в оборот (что соответствует таким значениям *mobilis* как ‘быстрый’, ‘легкий’, ‘подвижный’, ‘мимолетный, преходящий’; *mobiles et fluxae res humanae* // мимолётны и преходящи дела человеческие).

Распоряжение же недвижимыми вещами никак не связано с их перемещением, то есть оно формально и представляет собой смену владельца. Недвижимое имущество потому так и называется, что не может физически переместиться вслед за своим владельцем, следовательно, для возможности им распорядиться должен существовать некий известный всем членам общества социальный порядок. Поэтому осмысление недвижимого имущества в языковом сознании могло возникнуть только в юридическом дискурсе, где недвижимость уже была объектом сделок.

Таким образом, **возможно, в основе семантической оппозиции *res mobilis vs. res immobilis* первоначально лежал дифференциальный признак «возможность перемещения вещи при её передаче участнику сделки»**. Второй член оппозиции является маркированным членом, на что указывает как

морфологический маркер – префикс *–im,* так и контекстная реализация рассматриваемой оппозиции: в источниках и сборниках древнеримского права можно найти немалое количество примеров, когда выражение *res immobilis* было заменено номинацией своего наиболее репрезентативного примера – solum ‘земля’.

«*Ulpianus 29 ad ed. ... In peculio autem res esse possunt omnes et mobiles et soli: vicarios quoque in peculium potest habere et vicariorum peculium: hoc amplius et nomina debitorum*» [DIGESTA] (Dig. 15.1.7.3) // В состав пекулия могут входить все вещи – *и движимые, и земля*, также раб может иметь в составе пекулия помощников раба и пекулий этих помощников, сверх того, и обязательства должника [Скрипилёв 1997].

«*Ulpianus. Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut se moventes*» [DIGESTA] (Dig. 21.1.1pr.) // Ульпиан. Лабеон пишет, что эдикт курульных эдилов о продажах вещей относится [как к вещам *недвижимым*, так и к тем, которые являются *движимыми* или *двигающимися*].

Аналогично в Dig. 41.3.30.1: «*rebus soli, sed mobilia*», Dig. 43.16.1.6: «*res mobiles*», Dig. 50.16.222: «*soli quam mobiles*».

Анализ источников древнеримского права даёт основание утверждать, что земля – это наиболее репрезентативный член категории «недвижимое имущество» в праве Древнего Рима. Как и в рассмотренных выше современных терминах, обозначающих «недвижимое имущество», ядро семантической структуры лат. термина «*res immobilis»* составляет синтагма «земельный участок и его принадлежности»: «*solum – res soli* (*solo continentu*r: недра, почва, здания (*superficie*s) и др.)». «*Ulpianus 17 ad sab. Usu fructu legato omnis fructus rei ad fructuarium pertinet. Et aut rei soli aut rei mobilis usus fructus legatu*r» [DIGESTA] (Dig. 7.1.7pr.) // Ульпиан. Если узуфрукт предоставлен в силу легата, то все плоды вещи принадлежат пользователю. В силу легата может быть предоставлен узуфрукт *на недвижимое имущество или на движимую вещь* [Скрипилёв 1997].

2.4. Оппозиция «феод vs. личное имущество» как результат развития отношений древнегерманских форм *fehu и *oþal

В Средние века значимость разработанных институтов римского права была нивелирована спецификой феодальных отношений. Специфическим в эту эпоху было и проявление семантической оппозиции *«движимое vs. недвижимое имущество»*.

Следует отметить, что представления о богатстве в раннефеодальном обществе (V-IX вв. н. э.) весьма отличались от представлений о нём общества с оформленной классовой структурой. Как отмечает А.Я. Гуревич, в сознании людей того времени мир человека и мир природы были нерасчленимыми, что проявлялось в неразрывной связи владельца с предметом владения: «Имущество сплошь и рядом не представляло собой богатства в современном понимании, не было средством накопления и экономического могущества. Наряду с обладанием здесь на первый план, как важнейший признак собственности, выступает отчуждение. Вся собственность, за исключением самого необходимого для жизни, должна постоянно перемещаться из рук в руки. Богатство выполняло специфическую социальную функцию. Заключается она в том, что отчуждение имущества способствует приобретению и повышению общественного престижа и уважения, и подчас передача собственности могла дать больше влияния, нежели ее сохранение или накопление» [Гуревич 1999: 229].

При этом противопоставление движимого и недвижимого имущества в Средние века не имело своего чёткого выражения в правовых источниках. Однако факт того, что, к примеру, древние германцы разделяли имущество на две различные группы, которые бы мы сегодня отнесли к соответствующим категориям «движимое имущество» и «недвижимое имущество», эксплицитно представлен в древнегерманском руническом алфавите – в футарке.

Как отмечается в работе С.Г. Проскурина и Ю.С. Степанова «Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия», древние записи греческого и латинского алфавитов, а также германских рун

позволяют нам говорить, что алфавит «ощущался как модель мира. Отдельные знаки алфавита рассматривались как элементы мира и одновременно как элементы записи мира, а алфавит в целом – как имя мира» [Степанов, Проскурин 1993: 75].

В отличие от греческого алфавита, в футарке числовое значение той или иной руны связано с ней на основании индивидуальных ассоциаций данной руны и данного числа. В частности, отличие футарка от классического греческого алфавита состоит в цикличном принципе его построения: «ряд начинается и заканчивается синонимическими обозначениями, формирующими цикл» [Там же: 51]).

Речь идет о рунах № 1 (ᚠ)**fehu* и № 24 (ᛟ) **oþal*: имя первой символизирует богатство, скот, деньги, имя второй – наследуемое имущество. Вместе они составляют культурную оппозицию, которая, как показали С.Г. Проскурин и Ю.С. Степанов на примере готского алфавита, получает своё осмысление в семантической сфере «название скота, имущества» (наряду со сферами «имена стихий», «имена деревьев» и «имена богов»): «**[f] fe** **faihu* ‘скот, движимое имущество’, др.-англ. *fe, fech, feoh*; **[o] utal**, **oþal* ‘наследственное имущество’, др.-англ. *ōþal, eþel homestead, fatherland, one’s own residence or property, inheritance, country, realm, land, dwelling, home*…» [Там же: 57].

Используя терминологию Н.С. Трубецкого, можно сказать, что оппозиция **fehu vs. *oþal* (ᚠ…ᛟ) является <u>*эквиполентной, или логически равноправной оппозицией*</u>: каждый из членов выражает фактически не пересекающиеся смыслы и признаки. В то же время определённые смыслы, которые символизировали указанные руны, могли составлять смысловую синтагму.

<u>1. Отношения смысловой сочетаемости 1-й и 24-й рун футарка.</u>

Начало ряда в футарке, выраженное в руне **fehu* (ᚠ), символизирует идею «единицы, единичного» как меры счета и стоимости материальных предметов» [Там же: 85].

Как известно, имя первой руны футарка восходит к и.-е. **peku-*, первоначальное значение которого было убедительно реконструировано Э. Бенвенистом в качестве термина «личное движимое имущество», «богатство».

Представляется, что использованный Э. Бенвенистом термин «личное движимое имущество» привнесен им самим и является метатермином для исторической эпохи, к которой восходит использование и.-е. *peku-. Термин «личное движимое имущество» с очевидностью стоит в семантической оппозиции с термином «недвижимое имущество», вместе образующих концепт более высокого уровня («все имущество»). Выше было показано, что осмысление и категоризация материальных объектов в семантической оппозиции «*движимое имущество vs. недвижимое имущество»* предполагает достижение определённого социального-экономического уровня развития общества с развитым юридическим дискурсом. Поэтому, применительно к и.-е. **peku-*, более предпочтительным является использование терминов «богатство» или «личное имущество», выражающих мерило экономического могущества на определенном историческом этапе общественного развития.

Возвращаясь к руне **fehu* (ᚠ), необходимо сказать, что выраженная в ней идея «единицы, единичного» как меры стоимости материальных объектов, представляет собой отражение зарождающихся отношений эквивалентности в товарообменном обороте, когда в единицах стоимости одного товара выражается стоимость других товаров. Эквивалентом, как правило, служит тот товар, который, в зависимости от форм производства и социальной структуры, является наиболее распространённым и значимым на определённой территории, что находит своё отражение в культуре и языке.

Воплощение концепта «стоимость» в скоте как материальном объекте не является случайным и представляет собой первый этап эволюции денег как единицы измерения стоимости, которая имеет давнюю историю.

Так, Вяч.Вс. Иванов отмечает: «Особый интерес представляет сохранившийся в тексте хеттских законов тариф, в котором стоимость мяса различных домашних животных оценивается посредством указания

эквивалентных долей одной овцы; стоимость всех других товаров оценивается в серебре» [Иванов 2001: 27 – 28].

Таким образом, руна **fehu* (ᚠ) могла символизировать единицу измерения стоимости для материальных объектов, в том числе и тех, которые символизируются руной **oþal* (ᛟ) как «наследуемое имущество». Однако, как будет показано ниже, последнее не являлось товаром, так как не могло быть отчуждено и, следовательно, стоимостные характеристики на него не распространялись.

В этой связи представляется важным высказывание А.Я. Гуревича: «сущность феодальной собственности на землю — это власть феодала над людьми, ее населяющими» [Гуревич 1999: 219]. Оно наглядно раскрывается крупным специалистом по ранней истории германской земельной собственности А. Гальбан-Блюменштоком, который, определяя значение земли в жизни франка, писал: «Земля кормит человека, но не обогащает его» [Blumenstok 1894: 360—363]. А.Я. Гуревич поясняет суть этого суждения: «Он (*прим. автора* – А. Гальбан-Блюменшток) обнаружил, что индивидуализация владельческих прав на землю у франков ограничивалась непосредственными практическими потребностями, сама же по себе земля не имела никакой цены, и первоначально отчуждение ее было невозможно» [Гуревич 1999: 209].

Таким образом, сама по себе земля как физический объект не оценивалась с позиции экономической категории стоимости. Более того, в Средние века не существовало равновеликих единиц, неких эталонов для описания площади земельного участка: «В документах той эпохи обычный способ описания «величины» владения заключается в указании дохода, который с него можно получить, либо числа плугов, потребных для его возделывания (или числа волов, которых нужно было запрячь в плуги), либо количества семян, шедших для засева поля» [Гуревич 1972].

Можно предположить, что руна **fehu* (ᚠ) по отношению к руне **oþal* (ᛟ) была символом материальных объектов, служащих мерилом для описания земли в экономических категориях трудовых затрат (расходов), необходимых для её

обработки, и доходов, которые можно примерно получить. Таким образом, **fehu* (ᚠ) – символ некоего мерила для описания «величины» владения **oþal* (ᛟ), и в этом плане отношения двух указанных рун можно охарактеризовать как синтагматические.

2. *Отношение противопоставления* 1 и 24 рун футарка основывается на различии формы собственности на имущество, которое символизирует руна **fehu,* и формы собственности на наследуемое имущество, которое символизирует руна **oþal*.

Имя 1-ой руны футарка относится к древнегерманской тематической группе слов, восходящих к и.-е. *peku, и репрезентирующих *идею богатства* в индоевропейской культуре: франк. **fehu,* д.-в.-н. *fihu (feho, fehu),* гот. *faihu,* др.-англ. *feoh,* др.-сев. *fe,* [Бенвенист 1995: 56 – 57].

Руна **oþal* (ᛟ) *символизировала представления древних германцев о наследстве*, в которых концептуализировалась особая связь семьи (рода) и принадлежащего ей (ему) земельного участка, что, в частности, подтверждается:

- концептуальной связью значений «земля» – «родина» – «дом/поместье», в генетически родственной группе лексики: др.-англ. *eðel* (*éthel*) – ‘one's native country, patria, prædium’, др.-герм. *uodal* – ‘prædium’, др.-исл. *oðal* – ‘fundus’ [Anglo-Saxon dictionary: 260];

- концептуальной связью значений «наследственное владение землёй» – «родовитость» – «благородство» в генетически родственной группе лексики. Так, например, свободного человека в Скандинавии называли одальманом - владельцем одаля (odal), наследственного земельного владения семьи. Однако право одаля характеризовало не сам земельный участок, а семью или род, владевшие им [Гуревич 1972]. Эта особенность нашла отражение в семантических коннотациях *odalman* со словами, выражавшими в древнегерманских языках прирожденные качества: благородство, родовитость, знатность лица (др.-сканд. *aðal, aeðel, ethel, adal, eðel, adel, aeðelingr, oðlingr ethel* (*edel*), и тем самым обозначавшим благородное, знатное происхождение человека, принадлежность его к свободному роду. Таким образом, «одаль представлял собой не что иное, как

родовитость человека, перенесенную на земельное владение. Например, в нем. ađalborinn («родовитый», «благородный») был синонимом uđalborinn («человек, рожденный с правом наследования и владения родовой землей»)» [Гуревич 1972].

Также представляется неслучайным сходство компонентов формы ᛟ с формами рун *gebo** (ᚷ) и *enguz, iggws** (ᛜ), символизирующих соответственно: дар, дружеские, партнерские отношения и человека, мужчину, Бога плодородия и завоеваний Ингуза (*Ingyaz*).

Данные примеры показывают, что в раннефеодальном обществе существовала неразрывная связь между человеком, родом, к которому он относился, и принадлежавшим этому роду (семье) земельным участком. Вполне возможно, что центральным значением символа руны *oþal (ᛟ) являлась семья как совокупность родственников, некий род и принадлежащее им неотчуждаемое, передаваемое по наследству, из поколения в поколение недвижимое имущество в виде земельного участка и находящихся на нём строений.

К той же семантической сфере, что и др.-сканд. *odal,* относится и др.-герм. *allod, alod (*вульгарная латынь *allodium, alodium).* М.М. Стасюлевич отмечает, что *alod* «обозначал такую землю, которую владетель не получал ни от кого и которая не налагала на него никаких обязанностей в отношении кого-либо» в силу того, «что первыми алодами были те земли, которые присваивались в различных формах, без всякого систематического разделения германскими победителями, франками, бургундами или визиготами. Такого рода земли были вполне независимы: их получали вследствие победы, по жребию, но не от предводителя, и называли *alod*, то есть *lot* (нем. *loos*), жребий, по толкованию одних, а по другим – *al ōd*, то есть независимая собственность» [Стасюлевич 2001: 366]. Значение др.-герм. *alod*, таким образом, соответствовало компоненту значения руны **oþal* (ᛟ) ‘наследуемое имущество’.

С развитием феодальных отношений, которые характеризовались, в частности, централизацией земельных владений и, как следствие, переделом ранее неотчуждаемых земельных владений в пользу ограниченного числа лиц, концептуальные связи, ранее представленные в **oþal,* постепенно ослабляются, а

представленные в значении **fehu*, наоборот, усиливаются. Так, начиная с VIII в. н. э., во Франкском государстве, в результате реформ майордома Карла Мартелла, широко распространяется такая форма земельного владения как бенефиций (лат. *beneficium* ‘благодеяние’: применительно к земельному участку обозначало ‘ненаследуемое земельное держание, жалуемое за военную службу’), появление и развитие которой сопровождалось постепенным сокращением свободных земельных владений, так как «земельный фонд для раздачи бенефициев создавался путём конфискации владений непокорных магнатов и широкой секуляризации церковных земель» [Большая советская энциклопедия]. По данным М.М. Стасюлевича, лексема *beneficium* «встречается во всех исторических документах от V до X в. и выражает собой, очевидно, ту же собственность, которая с конца IX в. получила название *feodum*. И после того долгое время оба эти слова оставались синонимами; даже в самой хартии Карла III Толстого (*прим. автора* – выражение *feodum* впервые встречается именно в этой Хартии, которая датируется 884 г.) и до хартии императора Фридриха I в 1162 г. *feodum* и *beneficium* употребляются безразлично» [Стасюлевич 2001: 366]. Таким образом, те объекты (земельные владения), которые раньше мыслились исключительно в семантической сфере **oþal*, с развитием феодальных отношений начинают обладать признаками (условный характер и ненаследуемость), которые более соответствуют семантической сфере **fehu.*

В диахронии наблюдается смешение акцента в отношениях между значениями концептов **fehu* и **oþal* с парадигматических, представленных в форме оппозиции (объективированных, в частности, в показанных выше концептуальных связях 1-й и 24-й рун футарка), на синтагматические, объективированных, в частности, в лат. *feodum (feudum)*. Широкое употребление применительно к земельному владению, наряду с позднелатинской лексемой *feodum (feudum)*, таких лексем, как англ. *fee*, нем. *lehn*, фр. *fief* (от вульг. лат. *fevum* [Picoche 2009: 231]), в общем значении «наследственное пожалование от более крупного феодала своему вассалу за службу» (как указывает А.Я. Гуревич, в понятии, которое выражали данные слова, земельное владение мыслилось лишь

как один из объектов, которые вассал мог получить за службу от своего сеньора: «В лен могли быть пожалованы право горной разработки и должность палача, он мог состоять из виселицы и из городских прав; были ленники, державшие... публичные дома…Когда реального сеньора не оказывалось, аллод — фактически независимую земельную собственность — именовали «солнечным леном» [Гуревич 1999: 223]) свидетельствует об утрате значения семантической оппозиции **fehu vs. *oþal*. По-видимому, постепенное сближение значений **fehu и *oþal* по отношению к земельному владению в плане выражения проявилось в появлении лексемы *feodum (feudum).*

По данным А.Я. Гуревича, в Средневековой Европе с XIII в. начинают складываться представления о том, что «нормальной» формой феода является земельное пожалование и что все другие его формы — не «подлинные» [Гуревич 1999: 223]: таким образом, пожалованная собственность (феод – отчина – поместье) оказывается в оппозиции к иному имуществу, которое находилось в личной собственности владельца. В связи с этим интересно рассмотреть известную английскую формулу *goods and chattels*, которая сегодня может быть переведена как «скарб», «личные вещи», «пожитки». Обращение к «The New English Dictionary» показывает, что фраза фиксируется в той же форме, а столетием ранее – в форме «*good(e)s and cattel(s*)»; самое раннее её употребление относят к 1418 г. [Watkins 1995: 9]. По данным К. Уоткинса, появление этой формулы в английском языке не может быть точно установлено, но с уверенностью можно сказать, что она является результатом перевода юридического оборота *bonorum aliorum sive cattalorum*, содержащегося в законах XI в. Эдварда Исповедника [Там же: 9].

По мнению К. Уоткинса, *goods and chattels* ранее обозначала движимое и недвижимое богатство в значении ‘все богатство’. Однако полностью с такой трактовкой нельзя согласиться: формула *goods and chattels* действительно могла употребляться в значении ‘всё имущество, богатство’, однако нет оснований распространять её на объекты, относимые к недвижимому имуществу.

Для формы *chattel* Уоткинс выстраивает цепочку: *chattel→ cattel→cattala* (форма нормандского языка, бывшая в употреблении до Завоевания Англии в 1066 г.) → *cap(i)tale* (форма, существовавшая в поздней латыни). По мнению Э. Бенвениста, англ. *cattel*, фр. *cheptel* восходят к латинскому *cap(i)tale* ‘основное имущество’, а в тексте, датируемом 1114 г., слово *cap(i)tale* значит ‘стадо, движимость’…но ещё в Средние века это слово сохраняет значение ‘богатство, имущество, доходы’, а испанское *caudal* до сих пор означает ‘имущество, богатство’ [Бенвенист 1995: 59].

Итак, синтагма *good(e)s and cattel(s*) применялась только к тому комплексу имущества, которое бы мы сегодня назвали движимым. В Средние века, эпоху господства феодальных отношений, у земли был один собственник – король. Земля не являлась объектом свободных товарно-денежных отношений. Следовательно, личным имуществом (ср. совр. англ. *chattels personal)* могли быть названы только те вещи, которые не имели к земельному участку непосредственного отношения. Наиболее значимым из которых и, следовательно, наиболее репрезентативным был *cattle* ‘скот’.

По мнению К. Уоткинса, данная формула может быть рассмотрена как оппозиция, разделяющая «богатства», которые могут накапливаться и храниться ввиду их важности, и «богатства», которые передвигаются. В этом ракурсе *good(e)s and cattel(s*) представляет собой ту же инд.-евр. формулу, которая «всплывает на поверхность» в др.-хетт. как *iyata dometa*, в греческом языке периода Гомера как *κειμήλιά τε πρόβασίν τε* [Watkins 1995: 9].

При этом представленные формулы, обозначая «богатство», «личное имущество», не содержат в своём экстенсионале те объекты, которые традиционно относят к недвижимому имуществу. По-видимому, это связано с репрезентацией в конкретных культурно-исторических условиях тех объектов, на которые могли быть распространены существовавшие на то период формы владения. Э. Бенвенист на примере и.-е. *peku показал, что «термины, указывающие на различные формы владения, — это общие термины,

обозначающие отношение к владельцу, но ничего не говорящие о природе объекта владения» [Бенвенист 1995: 59].

Изначально в таких терминах могли мыслиться лишь те материальные объекты, которые соответствовали социально-экономическому укладу общества. И если в основе последнего лежало скотоводческое хозяйство, то скот, как наиболее репрезентативный пример материальных объектов, с необходимостью и очевидностью становился базовым когнитивным измерением соответствующего термина.

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ

В результате синхронного сопоставления семантических оппозиций *«движимое имущество vs. недвижимое имущество», biens meubles vs. biens immeubles, mobilien (bewegliche sachen) vs.immobilien (unbewegliche sachen)* и *real property (immovable things*) *vs. personal property (movable things),* репрезентируемых, соответственно, в российских, французских, немецких и английских правовых источниках, показаны общие содержательные и структурные особенности их языковой реализации. Установлено, что в каждой из этих оппозиций, как и в древнеримской оппозиции, «недвижимое имущество» является маркированным членом. На это указывает как морфологический маркер – префикс *–im* (не- в рус.), так и контекстная реализация рассматриваемой оппозиции, указывающая на фоновый характер категории «движимое имущество»: на фоне многочисленных движимых заменяемых вещей подчёркивается значимость, малочисленность, индивидуальность и особенность вещей недвижимых.

В рамках историко-генетического подхода, на материале латинского, древнегреческого, древнегерманских языков; языков индоиранской группы, исследовались лингвокультурные предпосылки и мотивы появления рассматриваемой оппозиции.

В результате проведённого исследования показано, что представления, лежащие в основе древнеримской оппозиции *res mobilis vs. res immobilis*, восходят

к представлениям древних индоевропейцев о богатстве и (или) личном имуществе, которые первоначально репрезентировались в языке в форме биномов, одним из членов которых была лексема, обозначавшая «скот» как наиболее ценный, распространённый, а потому наиболее репрезентативный пример данной категории:

1. *Биномы-внешние синтагмы (и.-е. *uiro-peku- ‘люди-скот’: авест. pasu vira, умбр. uiro pequo, гот. *faihu-iggws) в общем значении «богатство»,* которое, по-видимому, обеспечивалось изначальной асимметрией в оппозиции эквивалентности на ментальном уровне: одно из двух понятий («скот»), относящееся к скотоводческой лексике, мотивировало второе («люди»).

2. *Биномы, связанные одновременно синтагматическими и парадигматическими отношениями*: др.-хетт. *iyata dometa,* др.-греч. *κειμήλιά τε πρόβασίν τε,* англ. *good(e)s and cattel(s*), как синтагмы обозначают ‘всё имущество’, как биномы, связанные парадигматическими отношениями, могут быть представлены в виде семантической оппозиции «богатства, которые двигаются – скот vs. богатства, которые хранятся и накапливаются»; первый член оппозиции является изначально немаркированным, репрезентирующим более распространённый объект, универсальный эквивалент и единицу стоимости в древних обществах (ср., например, употребление лат. *cap(i)tale* ‘стадо, движимость’ в нейтрализованном значении *cap(i)tale* ‘основное имущество’).

В древнеримской культуре отношения, указанные выше во втором пункте, также присутствовали в содержательном плане, но не были выражены в форме бинома: так, в основе оппозиции *res mobilis vs. res moventes* лежит семантический дифференциальный признак «наличие у res души, жизни (*moventia=animalia*)». В данной оппозиции *res moventes* – маркированный член: в исследованных источниках употребление данного выражения встречается в ограниченных контекстах, тогда как *res mobilis* в нейтральном значении ‘движимое имущество’ употребляется повсеместно.

Другой вид оппозиции, описывающий термины владения, характеризуется симметрией входящих в неё членов: личное имущество здесь не

дифференцируется, а противопоставляется в целом родовому, или фамильному имуществу в семантической оппозиции «*имущество семьи, наследство vs. оборотное имущество (главным образом, «скот»)*» (лат. *familia vs. pecunia*, др.-герм. **fehu vs.***oþal*).

На языковом материале источников римского права (главным образом Законов XII таблиц, Дигест Юстиниана и Институций Гая) показывается, что предпосылкой появления в латинском языке оппозиции *res mobilis vs. res immobilis* является оппозиция *familia vs. pecunia*, значение которой фиксирует переход от семейной (коллективной) формы собственности к частной. В результате проведённого анализа установлено, что pecunia, в оппозиции к familia, — это имущество (из состава familia), вовлеченное в систему волевых отношений с другими лицами, членами других семейных групп. Таким образом, pecunia является как бы потенциальной стоимостной характеристикой famila.

Показано, что аналогичные отношения существовали между др.- герм. **fehu* и **oþal*: лат. *pecunia* и др.- герм. **fehu* восходят к одному и.-е. корню *peku-*, а лат. familia и др.-герм. **oþal* характеризуют не отдельного человека, а род, в частности, исходя из принадлежности этому роду определённого имущества.

Таким образом, лат. familia и др.-герм. **oþal* в обозначении наследуемого имущества выражают аналогичные смыслы (ср. familia = *patrimonium* ‘отчина’). Единственным, однако, существенным отличием являлось то, что др.- герм. **oþal* репрезентировалось принадлежащей роду землёй, тогда как лат. *familia,* в значении ‘имущество’ не имело такой ярко выраженной репрезентанты. Возможно, это сыграло ключевую роль в том, что смысловая синтагма *familia-pecunia* фактически не имела проявлений в плане выражения (кроме древнего бинома *familia pecuniaque*, который употреблялся главным образом при составлении завещаний со значением «все имущество семьи»), тогда как в древнегерманском культурно-языковом пространстве сближение в плане содержания сопровождалось усилением синтагматических отношений в плане выражения: с распространением традиции пожалования земли вассалам появляется позднелатинская форма *feodum/feudum (*fehu +**oþal*), значение

которой сближается со значением англ. *fee,* нем. *lehn,* фр. *fief* (от вульг. лат. *fevum*) ‘пожалованное владение’, что свидетельствует об утрате значимости семантической оппозиции **fehu vs.*oþal’*. В свою очередь, в латинском языке распространяется общий родовой термин *res* ‘вещь, имущество’, равно применимый как к движимому (res mobilis), так и к недвижимому имуществу (res immobilis).

Синтагматические отношения *res* + *mobilis* являются не случайными, но мотивированными архисемой ‘оборотное имущество’ лат. *pecunia*. В связи с изменившимся экономическим укладом древнеримского общества указанный компонент значения pecunia также распространился на второй член семантической оппозиции *res mobilis vs. res immobilis*, что свидетельствует о его семантической маркированности по отношению к *res mobilis.* Предполагается, что в основе семантической оппозиции *res mobilis vs. res immobilis* первоначально лежал семантический дифференциальный признак «возможность перемещения вещи при её передаче участнику сделки».

Анализ источников древнеримского права даёт основание утверждать, что наиболее репрезентативным членом категории *res immobilis* являлась земля *(solum*): остальные вещи, неразрывно связанные с землёй (solo continentur), составляли категорию *res soli*, включающую в себя недра, почву, здания (*superficie*s) и др. объекты, составляющие с *solum* одно целое (семантическая синтагма «solum – res soli»).

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕРИМСКОГО КОНЦЕПТА PERSONA В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ И СЕМИОТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

3.1. Историко-генетические предпосылки появления юридического термина persona: постановка проблемы

3.1.1. Persona как концептуализированная область культуры. Методы исследования

Термин «лицо» в современном праве англосаксонской и романо-германской правовых семей восходит и по форме, и по содержанию к древнеримскому термину «*persona»*, являющемуся одним из столпов ius privatum (частного права). Ср., например, высказывание известного римского юриста, Гая: «*Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinent vel ad res vel ad actiones»* (Inst. I. 8) [GAI INSTITVTIONVM] // «Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к искам» [Дыдынский 1997: 17].

В большинстве учебных и научных изданий принимается, что сутью и базовым отличительным признаком понятия «лицо» в юридическом дискурсе является способность какого-либо существа (или, в общем, разумного начала) быть носителем прав и обязанностей [Новицкий 1956: 40], или, как говорят юристы, обладать правосубъектностью. При этом также признается, что изначальное значение persona было неюридическим, а именно: словом persona обозначалась театральная маска.

Таким образом, понятие persona в диахронном срезе большинством исследователей рассматривается как состоящее из двух слоев или уровней: 1) первый уровень – исторический: persona в значениях «театральная маска», «личина», «человек»; 2) второй уровень – актуальный (в частности, для юридического дискурса): persona как носитель определенных прав в обществе Древнего Рима.

Так, в авторитетном словаре терминов и понятий римского права М. Бартошека находим: «persona – «театральная маска, личина, человеческое существо, человек относительно права» [Бартошек 1989: 244].

Однако, несмотря на обилие научной литературы (главным образом исторической и юридической), с языковой и исторической точек зрения остаётся по-прежнему неясным ответ на вопрос: чем был мотивирован переход в номинации persona по линии «театральная маска» – «человек относительно права»?

Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, необходимо определиться с конкретными методами его исследования. При этом необходимо учитывать следующие исторические факты.

Во-первых, для реконструкции значения слова, относящегося к конкретной исторической эпохе, необходимы данные о контекстах, в которых это слово употреблялось.

Так, время появления первых театральных масок в Древнем Риме датируется примерно серединой IV в. до н. э. [Кофанов 2010: 28]. При этом, как указывает Л.Л. Кофанов, понятия *persona sui iuris* и *persona alieni iuris* имеют более древнее происхождение, чем Законы XII таблиц (Leges XII tabularum), древнейший из сохранившихся письменных памятников римского права, датируемый примерно серединой V в. до н. э.: «уже в законах Ромула мы застаем почти сформировавшимися отцовскую власть домовладыки (patria potestas), разделение лиц на категории personae sui iuris и personae alieni iuris» [Кофанов 2006: 364]. Как будет показано ниже, понятие persona напрямую связано с представлениями древних римлян об отцовской власти и ее носителе, pater familias.

Семья (familia) в архаическую эпоху понималась как некий комплекс прав, характеризующих статус домовладыки (pater familias) в отношении вещей (res) и рабов (servi), а также подвластных лиц (personae): «*Familiae» appelatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur*» (D. 50. 16. 195. 1) [Кофанов 2005: 500-502]. По отношению к лицам familia обозначала социальную структуру, образованную родственными либо

чисто властными отношениями (in potestate), во главе которой стоял pater familias как persona sui iuris (т.е. как лицо никому не подвластное) с властными полномочиями к personae alieni iuris (т.е. лицам, находящимся в чужой власти).

В связи с этим очень ценным представляется замечание Ю.С. Степанова об употреблении театральных масок в Древнем Риме как бы в «дополнительном распределении» к слову persona. Так, в римском театре типизирующими масками наделялись как раз те роли, которые не были «персонами» в жизни: 1) старики, 2) молодые люди («сыновья»); 3) женщины; 4) рабы…Основной гражданин, мужчина в расцвете сил, свободный член общины не имел типизирующей маски. Актер в соответствующей роли мог употреблять маску, но назначение её было другим – подчеркнуть типическую ситуацию, в которой в комедии оказывался отец семейства» [Степанов 2004: 734].

Этот феномен «дополнительного распределения» использования театральных масок в Древнем Риме по отношению к употреблению слова persona отсылает нас к древнейшему институту отцовской власти (patria potestas), возникшему задолго до появления в Древнем Риме театральных зрелищ.

Во-вторых, следует также обратить внимание на тот факт, что «римские актеры, histriones, по своему статусу считались стоящими на самой нижней социальной ступеньке, их профессия считалась позорной и бесчестящей имя уважающего себя римского гражданина» [Кофанов 2010: 29]. В то время как в Греции актеры были свободными гражданами, в Риме их набирали из рабов и вольноотпущенников. Поэтому сословие актеров презиралось: выступить в качестве актера в каком-нибудь представлении, кроме любительской ателланы, которая, по данным историка Феста, называлась *«personata fabula»*, означало для свободного гражданина уронить свою честь [Словарь античности 1989].

Это было связано с тем, что первоначально только в Аттелановских комедиях актерам разрешалось не снимать маску, поэтому свободные римские граждане, участвуя в этом жанре, могли скрыть за соответствующей маской себя от позора и бесчестья. И, как известно, долгое время существовало негласное правило: только актер-профессионал, получавший деньги за свои выступления,

выступал без маски: «в III-II веках до н. э. актеры, занятые в трагедиях и комедиях, выступали без масок» [Гальперева, Дятлева, Смирнова 2008]. Введение маски в театральное искусство Древнего Рима связывают с именем великого актера эпохи, Квинта Росция, который примерно в 110 г. до н. э., отказавшись от гонорара за свои выступления, получил право выступать в маске, сняв с себя бесчестье актерской профессии.

Таким образом, комедийные и трагедийные маски появляются в древнеримском театре не ранее конца II в. до н. э. Однако, по данным Л.Л. Кофанова, сами древние постановщики трагедий и комедий использовали слово persona: «слова persona и производное от него persolla (рожа) встречаются уже в комедиях первой половины III-II в. до н. э. у Плавта и Теренция и в трагедиях Акция II в. до н. э. в значении отнюдь не театральной маски, а человеческого лица или персонажа» [Кофанов 2010: 29]:

«Plaut. Curc. 192: *ebriola, persollae nugae. Phaed.Tun meam Venerem vituperas?* //…пьянь, рожа, пустомеля. (Федром) Ты Венеру мою хулишь? Pers. 783-784: *qui illum Persam atque omnis Persas atque etiam omnis personas // male di omnes perdant*…// Да погубят все боги этого перса и всех персов с ним и персон всяких злых…

Terent. Eunuch. 25-26: *Colacem esse Naevi, et Plauti veterem fabulam; parasiti personam inde ablatam et miltis* // У Невия и Плавта есть уж пьеса «Льстец»; украдены оттуда личность парасита и личность воина.

Accius. Carm.fr. 26: *it nigrum campis agmen // personas distoris oribus deformis miriones* // Это черное войско в сражении // Лица, удивляющие безобразно уродливыми физиономиями» [Кофанов 2010: 29 – 30].

Употребление слова persona в значениях ‘человеческое лицо’, ‘роль’, ‘персонаж’, до того как театральная маска стала в Древнем Риме распространенной культурной реалией, очевидно свидетельствует о том, что признак «театральности» для древнеримской persona является скорее приобретенным, чем «врожденным».

Наличие устойчивой концептуальной связи между словом persona и объектом материальной культуры (маской) по линии «личность» - «театральная маска» не вызывает сомнений, однако ее исток, как будет показано ниже, связан с ритуалом почитания предков в индоевропейской культуре, а не с исполнением римскими актерами ролей в театре.

Таким образом, на определенном историческом этапе развития римской культуры можно говорить о наличии в ней концептуализированной области, выражающей смысл persona. Термин «концептуализированная область» был впервые введён в научный дискурс С.Г. Проскуриным в работе «Древнеанглийская пространственная лексика концептуализированных областей», где употреблялся в значении «предметно-понятийная область, выражающая одну базовую семантему» [Проскурин 1990: 9]. По мнению Ю.С. Степанова, «концептуализированная область – это такая сфера культуры, «где объединяются в одном общем представлении (культурном концепте) – слова, вещи, мифологемы и ритуалы (конечно, в каждом конкретном случае не обязательно должен наличествовать весь перечисленный набор этих сущностей)» [Степанов 2004: 74].

Далее нужно отметить, что слово persona в юридическом дискурсе Древнего Рима, относится к сигнификативной группе лексики, например:

Servus non habet personam, или «*Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*» (Inst.1.9) [GAI INSTITVTIONVM] // «Главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди – или свободные, или рабы» [Дыдынский 1997: 17].

В приведенном отрывке persona употребляется явно как признаковое имя, которое характеризует всех людей в римском обществе относительно наличия или отсутствия у них прав.

Однако нельзя представить, будто наличие или отсутствие у человека определенных прав – это главный и изначальный признак понятия persona, потому, как было сказано выше, слово, его выражающее, имеет гораздо более

древнее значение, восходящее ещё к архаическому развитию римского общества, в котором юридический дискурс еще не был достаточно развит.

Поэтому, необходимо выяснить некую общую смысловую функцию, которая является осью осмысления концептуализированной области persona, функцию, которая составляла, а возможно, и составляет ядро значения концепта persona.

Рассматривая persona как концепт, как явление культуры, мы неизбежно сталкиваемся с вопросами: как можно понять духовное значение культурного феномена для современников эпохи на различных этапах его развития и становления? Что обеспечило переход от одного значения к другому, каков источник трансформации концепта? Это вопросы, с которыми неизбежно сталкивается исследователь, пытаясь найти смысловую линию развития того или иного концепта при анализе исторических текстов.

Представляется, что для выяснения исходной мотивации значения концепта и выражающего его слова (группы слов) необходимо, для начала, исследовать, как воплощался «буквальный смысл» наиболее раннего из известных его значений в материальной культуре той исторической эпохи, в которой жили носители языка. Далее, руководствуясь на исторических, лингвистических и экстралингвистических данных, необходимо попытаться провести ретроспективный анализ истоков появления этого значения.

Основой этого анализа в лингвистике является, как известно, учение о внутренней форме слова, связанное с именами В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, В.В. Виноградова, С.Д. Канцельсона, Г.Г. Шпета и других исследователей. При этом, в связи с тем, что в данной главе persona исследуется как явление лингвокультурного порядка, во главу угла должны быть поставлены методы семантической реконструкции с широким привлечением фонового материала, что требует содержательного подхода, рассматривающего феномен с позиций языка, истории и культуры. Как отмечает С.Г. Проскурин, «многие индоевропеисты склоняются к тому, чтобы определять сначала концепты или понятия, актуальные на определённом этапе развития семантической сети языка и культуры, и лишь затем реконструировать сам термин, функционировавший в

протоязыке…Разнообразие данных о мире индоевропейцев свидетельствует о целесообразности переориентации анализа с формального на содержательный, т.е. первоначального установления мифологического концептуального архетипа культурного концепта, а затем только реконструкции возможной лексической праформы…» [Общество сетевых структур 2011: 246].

В связи с вышесказанным, для анализа концептуализированной области persona как лингвокультурного явления требуется более широкая методологическая основа, дополняющая чисто лингвистические методы, главным образом, историко-культурным подходом. Как отмечает Ю.С. Степанов, такой подход был предложен в середине XIX в. отечественным историком и социологом К.Д. Кавелиным. Он впервые четко – «не только в русском, но и европейском масштабе» – поставил вопрос о методе исследования культурных явлений, а также предложил свой ответ на этот вопрос: «при изучении народных обрядов, поверий, обычаев искать их непосредственный, прямой, буквальный смысл», так как «самые толкования, какие народ дает этим обычаям, обрядам и поверьям, часто не отвечают более действительности. На первых порах они были не символом, а весьма определенным понятием или живым действием. Приходит время, когда изменяются те естественные и бытовые условия, при которых образовалось это понятие или установился этот образ действий; тогда прежнее представление становится освященным преданьем, поверьем, а образ действий — обрядом. Первоначальный смысл их с изменением условий нередко вполне утрачивается, народ продолжает их придерживаться, чтить их, но уже не понимает. Он придает постепенно этим памятникам старины значение, сообразное с его новым бытом. Так образуется различие между первоначальным смыслом факта и его толкованием в народе» [Степанов 2004: 50].

3.1.2. Подходы к этимологии лексемы persona

Возвращаясь к происхождению латинской лексемы persona, нужно сказать, что среди исследователей нет и не было единого мнения по вопросу этимологии этого слова. Как уже отмечалось выше, большинство исследователей считает, что его первоначальное значение реконструируется как «театральная маска». При

этом источником такого толкования является объяснение римского грамматика Гавия Басса, данное им в трактате «О происхождении слов» в изложении Авла Геллия:

«Gell. N. A.V.7…*a personando enim id uocabulum factum esse coniectat. Nam «caput» inquit «et os coperimento personae tectum undique unique tantum uocis emittendae uia peruium, quoniam non uaga neque diffusa est, <set> in unum tantummodo exitum collectam coactamque uocem ciet, magis claros canorosque sonitus facit. Quoniam igitur indumentums illud oris clarescere et resonare uocem facit, ob eam causam «persona» dicta est «o» littera propter uocabuli formam productiore*» [Кофанов 2010: 29 – 30].

По мнению римского грамматика, *persona* является дериватом от латинского *personare* ‘громко звучать’, что, в свою очередь, обусловлено тем, что в Древнем Риме, для более сконцентрированного и сильного звучания голоса, использовалось приспособление, покрывающее голову и лицо, с одним лишь отверстием – для рта. Однако из этого отрывка сочинения древнеримского автора отнюдь не следует, что persona как приспособление, покрывающее голову (caput) и лицо (os) для усиления звучащего голоса, использовалось в театре.

Некоторые ученые считают, что отношение между personare и persona должно быть инвертировано (повернуто в обратном порядке). Так, О. Сакки выдвинул гипотезу о том, что persona первоначально обозначала какой-либо театральный реквизит, а производная вербальная форма personare обозначала действия, осуществляемые в театре актером, носившим personam [Sacchi 2008: 37].

Третий подход к этимологии persona заключается в постулировании исконной этимологической связи с лат. *sonare* (‘петь’, ‘звучать’, ‘оглашать’, ‘прославлять’) и, соответственно, с его дериватом, глаголом *personare.* При этом указывается, что изначальная этимологическая мотивировка не могла быть связана с театральными представлениями, а следовательно, и с феноменом театральной маски. Такого подхода, в частности, придерживается Л.Л. Кофанов. В своей статье, «Persona и persona publica в республиканском Риме», он

обосновывает, что первоначальное значение persona мотивировано признаком «воспевать/восхвалять», содержащимся в наиболее древнем, восходящим к дописьменной традиции значении глагола personare [Кофанов 2010: 37].

Другая группа исследователей связывает происхождение латинского слова persona с этрусским *phersu*, указывая на бесспорное влияние этрусской культуры на заре становления будущей Римской империи. Однако значение этрус. *phersu* на сегодняшний день является ещё менее ясным, чем значение его предполагаемого латинского деривата.

Многочисленные споры вызывает изображение (фреска) в некрополе Монтероцци, близ города Тарквиния (Италия), в так называемой гробнице Авгуров (Рисунок 1):

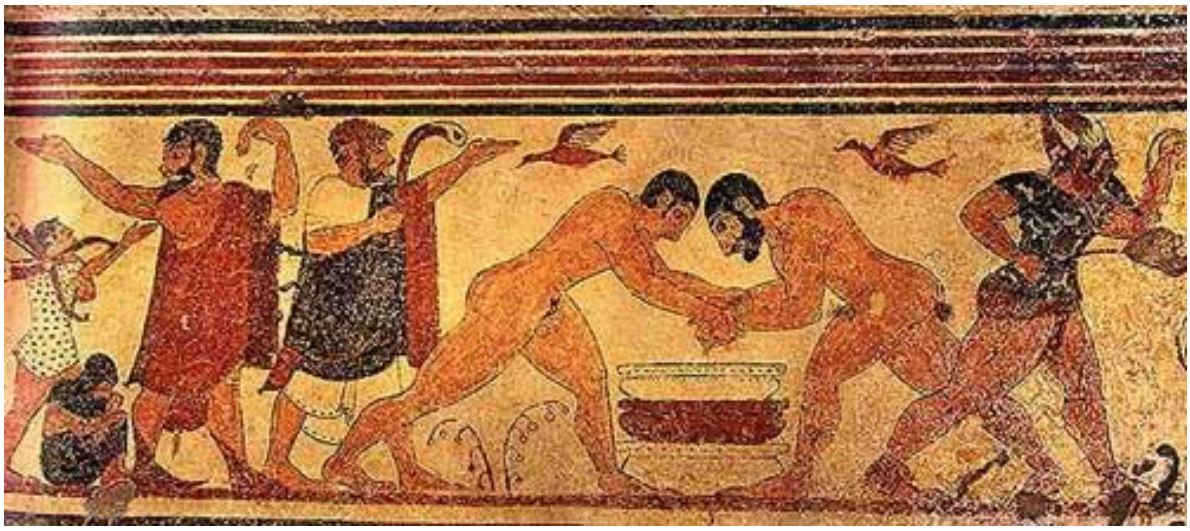


Рисунок 1. Роспись правой стены гробницы Авгуров в Тарквинии (530 г. до н.э.)

На Рисунке 2 изображен бородатый человек в маске, причём борода является частью этой маски. На голове у него – кожаный шлем, одет он в кожаный корсет. Прямо под этим персонажем заглавными буквами, с использованием бустрофедона написано – *ΦΕΡΣΥ*. Двумя руками он держит веревку, с помощью которой



Рисунок 2. Изображение одной из сцен, запечатленных на правой стене в гробницы Авгуров в Тарквинии (ок. 530 г. до н.э.).

одновременно может контролировать смертельную схватку, разыгравшуюся между псом и мужчиной в набедренной повязке.

Таинственная сцена, изображенная на стене в гробнице Авгуров, порождает разные, порой противоречивые, догадки среди исследователей.

В 1929 г. Ф. Альтхайм выдвинул идею о том, что *Phersu* – это имя собственное, одно из антропоморфных образных воплощений этрусского бога смерти Харуна. В 1933г. Ф. Марои предположил, что *phersu* употреблялось в архаическом римско-этрусском мире для обозначения культа предков [Sacchi 2008: 28].

Наконец, современный итальянский исследователь Э. Монтанари, основываясь на последних археологических и исторических открытиях, приходит к выводу о том, что выражение мира и идеи преисподней не является базовым компонентом значения *phersu*. По его мнению, за изображением демона, представленного в гробнице Авгуров, не предполагается персонаж со «сценической репликой», но налицо репрезентация «ритуала посредника», который, в этом случае, будет действовать как посредник между Богом и человеком, имеющим также демонические черты.

Э. Монтанари утверждает, что персонаж, изображенный на правой стене гробницы Авгуров в Тарквинии, не имеет божественного происхождения и не обязательно связан с кровавыми ритуалами: так, на левой стене гробницы изображен человек в аналогичной маске, возможно исполняющий танец (Рисунок 3).

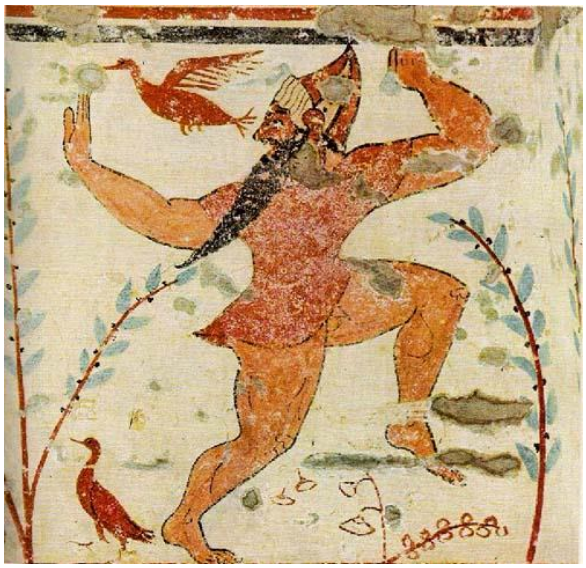


Рисунок 3. Изображение одной из сцен, запечатлённых на левой стене в гробницы Авгуров в Тарквинии (ок. 530 г. до н.э.).

Ему вторит известный французский этрусколог Ж.Р. Жанно. В своей статье «Phersu, Phersuna, Persona. À propos du masque étrusque» он указывает на то, что человек в маске, изображенный на стене гробницы Авгуров, играет определённую, но далеко не единственную роль. Ж.Р. Жанно отмечает, что

известные изображения этого человека-phersu отличаются всем: одеждой, ростом, выполняемыми им действиями, кроме одного – наличия маски с прикрепленной к ней бородой [Jannot 1993: 281 – 320].

Он выделяет три основных роли или идеи, которые репрезентирует человек-phersu в своих перфомансах [Jannot 1993: 307 – 316].

1. «*Опасность, риск*»: воплощается в акробатических трюках, которые исполняют артисты в масках-phersu (см. Приложение. Рисунок 4, 5).

«Насилие» (сцены, изображенные в гробнице Авгуров и в гробнице Олимпиады – см. Приложение. Рисунок 2, 6).

2. «*Высмеивание*»: например, по мнению Ж.Р. Жанно, убегающий персонаж в гробницах Авгуров и Пульчинеллы имитирует, соответственно, борьбу и бег (см. Приложение. Рисунок 7, 8). Возможно, смех публики вызывала взволнованность и серьезность спортсменов.

3. «*Игра*»: французский исследователь приводит в качестве примера такого воплощения бронзовые статуэтки, изготовленные этрусками, каждая из которых представляет собой фигурку артиста (см. Приложение. Рисунок 9), по видимому «играющего» в жанре пантомимы (Ж.Р. Жанно пишет о том, что маска phersu, из-за массивности своей конструкции, скорее всего, не могла быть приспособлением для усиления звука).



Рисунок 9. Бронзовые фигурки «актеров»

Однако, несмотря на различие исполняемых ролей, все персонажи, запечатленные на стенах этрусских гробниц, использовали одну и ту же типизирующую маску, что указывает на ритуальный характер совершаемого ими действа. По мнению Ж.Р. Жанно, это был своеобразный обряд очищения, проводимый при похоронных ритуалах: риск смерти и кровь в опасных играх есть некая компенсация за то, чтобы умерший предок ушел спокойно и не тревожил живых.

«Ainsi voyons-nous apparaître derrière le masque effrayant et bouffon du maître-chien de la tombe des Augures, toute une catégorie d'artisans du spectacle sacré qui sont les acteurs de rites efficacies avant d'être regardés comme les praticiens du divertissement. Le masque de *Φersu* leur confère l'anonymat du sacerdoce» [Jannot 1993: 320] // Таким образом, за маской ужасного и в то же время комичного хозяина собаки мы видим целый класс артистов, исполняющих священный ритуал. *Маска Phersu придает им анонимность священства*.

Каждый из авторов приведённых выше теорий даёт свою характеристику тем культурным представлениям, которые, на его взгляд, лежали в основе назначения и использования маски phersu. Нужно отметить, что главным аргументом сторонников происхождения persona от этрус. phersu в значении ‘театральная маска’ является рассказ Тита Ливия о появлении в Риме первых театральных зрелищ в связи с приглашением танцоров из Этрурии в 364 г. до н. э. [Кофанов 2010: 28]. Учитывая, что при этом не приводится каких-либо лингвистических данных (которые, по-видимому, на сегодняшний день не могут иметь места в связи с малой изученностью этрусского языка), позволяющих установить указанное языковое заимствование, данный подход не представляется достаточно обоснованным.

При этом нельзя отрицать факт глубокого взаимного проникновения древнеримской и этрусской культур до 364 г. до н. э.: как известно, последние цари Древнего Рима в VI-VII вв. до н. э. были этрусками. Поэтому можно предположить, что представления, лежащие в основе этрусского ритуала с маской phersu, имели сходные черты с представлениями древних римлян, в которых использовались ритуальные маски, не связанные с театром (см. следующий подраздел настоящей главы).

На общность указанных представлений указывают, в частности: изображение в гробнице Обезьяны (Италия, Кьюзи) небольшой фигуры мима, играющего на флейте в маске (см. Приложение. Рисунок 10) [Jannot 1993: 291]; фреска из гробницы Галлы, с изображёнными на ней танцующим мимом в маске, двумя

юношами, один из которых также танцует, а другой играет на флейте (см. Приложение. Рисунок 11).

Известно, что флейта издавна использовалась древними римлянами при отправлении различных обрядов и празднеств. Так, Овидий указывает, что «флейтисты с древнейших времён были у римлян в большом почёте и использовались во всех жертвоприношениях, в храмах, в религиозных играх и погребальных обрядах знатных римлян». Древность коллегии флейтистов в Риме подчёркивается также Плутархом, который отмечает, что «ради почитания богов «немалые почётные права» были предоставлены флейтистам римским царём Нумой Помпилием, т.е. ещё в VIII в. до н. э.» [Кофанов 2010: 30 – 31]. Как указывают Ливий и Валерий Максим, флейтисты исполняли хоровое пение в надетых на голову масках, что являлось правом, имевшим древнее происхождение [Кофанов 2010: 30 – 31].

Итак, с архаичных времён Древнего Рима роль флейтистов связывалась с музыкальным и песенным сопровождением отправления различных обрядов, в частности, обряда погребения.

По данным Феста, погребальные песнопения назывались «nenia»: Fest. P. 154: «*Naenia est <carmen, quod in funere laudandi> gratia can <tatur ad tibiam>»* [Кофанов 2010: 37] // Нения – это песня, которая под (звуки) флейты исполняется на похоронах для восхваления (умерших).

Цицерон указывает, что нении исполнялись в Древнем Риме с древнейших времён: «Cic. De leg. II. 62: *Reliqua sunt in more: ...honoratorum uirorum laudes in contione memorentur, easque etiam cantus ad tibicinem prosequatur, cui nomen neniae, quo uocabulo etiam <apud> Graecos cantus lugubres nominantur* // Прочее определяется обычаем: …чтобы о заслугах мужей, занимавших почетные должности, говорилось в речи на народной сходке, и чтобы это сопровождалось пением под звуки флейт, которое называется «нением», этим словом также и греки называют траурные песнопения» [Кофанов 2010: 37].

«Как отмечает Валерий Максим (II. 1. 10), эти nenia в устной форме передавались из поколения в поколение: *Maiores natu in conuiuiis ad tibias egregia*

superiorum opera carmine conprehensa pangebant, quoad ea imitanda iuuentutem alacriorem redderent… pubertas canis suum decus reddebat defuncta [uiri]… // Старшие по возрасту на пиршествах обычно исполняли под звуки флейты песни, посвященные предкам, и часто призывали молодежь активнее им подпевать… Молодежь воздавала надлежащие почести умершим мужам…» [Кофанов 2010: 37].

Высказывания античных авторов дают основание утверждать, что в представлении древних римлян nenia издавна связывалась с культом предков, который, как будет показано ниже, наиболее ярко воплощался в погребальных обрядах. По данным историка Светония, исполнение последних являлось полноценным сценарным представлением, в котором главное действующее лицо в маске покойного «изображало его слова и дела»:

«Sueton. Vesp. 19.2: *«sed et in funere Fauor* ***archimimus personam eius ferens imitansque, ut est mos, facta ac dicta uiui****...»* [Кофанов 2010: 30-31]. Интересно отметить, что действующее лицо именуется Светонием «*archimimus*», подобно этрусским мимам, также выступавшим в масках под музыку флейты.

Основываясь на вышесказанном, можно предположить, что в основе ритуалов с маской phersu и погребальных ритуалов Древнего Рима есть некий общий мотив, связанный, главным образом, с особой значимостью культа предков, основанного на общих представлениях о смерти и загробной жизни. Стоит отметить, что назначение этих ритуалов было, по-видимому, разным: если римская маска предка, как будет показано ниже, стремится к максимально точному воспроизведению черт лица умершего, то этрусская маска phersu является типизирующей (при том, что этрусский скульптурный портрет, также как и римский, стремится к максимальной точности воспроизведения); соответственно, римский погребальный ритуал выполнял функцию «сохранения памяти об умерших», а этрусский (по Ж.Р. Жанно) носил компенсаторный характер.

Учитывая типичность этрусской маски phersu и гипотезу Ж.Р. Жанно о компенсаторном характере соответствующего ритуала, можно предположить, что

её значение было связано с персонификацией какого-либо божества, в котором, в частности, репрезентировались представления этрусков о смерти и загробной жизни. Данная версия подробно разбирается в статье О. Сакки «Phersu/Persona. Contributo per un'etimologia di prosopon». Однако при этом нет достоверных сведений, которые позволили бы утверждать, что этрус. слово phersu относилось именно к маске, а, например, не к самому событию, изображенному на стене гробницы.

Таким образом, учитывая недостаточность лингвистических данных для достоверной реконструкции заимствования лат. persona от этрус. phersu, факт существования у древних римлян сценических представлений с использованием масок предков задолго до появления театральных масок из Этрурии, а также различный характер древнеримской маски предка и этрусской маски phersu, этимология лат. persona от этрус. phersu на сегодняшний день не представляется обоснованной.

При соотнесении лат. лексемы persona с этрус. phersu нужно учитывать два фактора:

- ещё до широкого распространения театральных масок в древнеримской культуре (конец II в. – начало I в. до н. э.), она равным образом употреблялась для обозначения трёх объектов: маски, человеческого лица в физическом смысле (передняя часть головы), человеческого лица в социальном смысле (persona sui iuris, persona alieni iuris);

- распространённость задолго до появления театральных масок в Древнем Риме обряда погребения умершего, в котором, как было показано выше, персонаж в маске играл центральную роль.

Далее следует отметить, что маска как материальный предмет также обладает значением: и за маской, используемой древними римлянами в культе предков, и за маской, изображенной на стенах этрусских гробниц, стоят представления людей той эпохи, семантически совмещающих эти предметные знаки с той или иной лексикой. Сфера употребления этой лексики, как было сказано выше, порождает концептуализированные области. В этом свете три основных значения

persona – это репрезентация в языке трёх связанных по смыслу объектов: передней части головы – лица; маски, закрывающей лицо; социального статуса или социальной роли, репрезентированной главным образом в имени (nomen) гражданина Древнего Рима (см. об этом следующий подраздел настоящей главы). Представляется, что последовательная реконструкция лингвокультурных мотивов появления каждого из указанных значений persona позволит раскрыть семантические основания этимологии рассматриваемого слова.

3.2. Историко-генетические мотивы появления и развития концепта persona в латинском языке и древнеримского культуре: от культа головы к репрезентации социального статуса pater familias

3.2.1. Историко-генетические мотивы концептуализации маски предка как подобия лица умершего в архаичной культуре Древнего Рима: лингвокультурные аспекты

Представляется, что в основе семантического совмещения указанных выше невербальных и вербальных знаков в концептуализированной области persona лежит явление, которое С.Г. Проскурин и Ю.С. Степанов называли «синонимизацией вещей и слов»: «в пределах отдельной «концептуализированной области» слово и ритуальный предмет, слово и мифологема и т.д. могут особым образом семантически совмещаться – выступая заместителем или символизатором одно другого» [Степанов 2004: 74] (сам термин «синонимизация» был впервые введён в научный дискурс С.Г. Проскуриным в работе «Древнеанглийская пространственная лексика концептуализированных областей» в значении «процесс выражения словами, образованными от разных корней, одного и того же семантического признака» [Проскурин 1990: 8]). И ещё: «концепты могут парить над концептуализированными областями, выражаясь как в слове, так и в образе или материальном предмете…Естественно, что материально этот «парение» выражается в том, что концепт находится в некотором контексте – или – тексте – любой природы…Это положение, между

прочим, налагает новые требования на работу этимолога: основой этимологии является не сопоставление парадигм и отдельных лексем (слов), а текст: подлинная и истинная этимология – всегда в тексте» [Степанов 2004: 75].

Учитывая признанный факт глубокого влияния на культуру Древнего Рима других античных культур (прежде всего – древнегреческой и этрусской), а также общекультурное значение ритуалов почитания предков, уходящих своими истоками в эпоху неолита, феномен синонимизации означающих в концептуализированной области persona должен быть рассмотрен в широком кросскультурном контексте.

Как будет показано ниже, основной функцией, смысловой осью, образующей глубинный и исторический (дополнительный) слои (уровни) концепта (или концептуализированные области) persona, является **репрезентация умершего предка в жизни своих потомков.** Генезис этой функции связан с архаичным пластом представлений древних римлян о сакральной значимости умерших сородичей. Эти представления транслировались в различных ритуалах и культах, центральным символом которых являлась маска. Как отмечает М. Мосс, говоря о значении маски в культе предков архаичных обществ: «Маска – символ предка. Духи предков персонифицированы участниками мистерий, ряженными в соответствующие маски…между раскраской лица, а зачастую и тела, и одеждой или маской существует **лишь различие в степени, и нет различия в функции**. И в одном, и в другом случае все ведет к **экстатическому представлению предка»** [Мосс 1996: 276-277]**.**

Мотивы использования этого предмета в качества репрезентамена умершего предка, очевидно, сформировались задолго до основания Рима. Так, немецкий антрополог К. Вульф отмечает: «Первые образы людей – это изображения мертвых, так называемые гипсовые маски мертвых; они получаются как отпечаток лица умершего. Благодаря этому отпечатку мертвый, навсегда покинувший живых, возвращается в виде изображения в их настоящее. Изображение делает его присутствующим в качестве отсутствующего; оно репрезентирует умершего в сообществе живых» [Вульф 2008: 11].

Необходимо отметить тот несомненный факт, что до возникновения письменности мерилом и в то же время инструментом познания мира являлось человеческое тело. «Для представителей традиционных культур…человеческое тело являло собой основу мироздания, ту матрицу, которая порождала организацию мирового порядка. В соответствии с углубленными архетипическими представлениями, тело представляло собой текст, в том числе сакральный» [Медникова 2010: 105].

Как свидетельствуют многочисленные археологические источники, голова человека и её передняя часть – лицо – выделись особым образом в представлениях наших далеких предков.

Примерно с 9-го тысячелетия до н. э. на Ближнем Востоке возникает традиция захоронения человеческого черепа отдельно от тела. Так, отечественный антрополог М.Б. Медникова отмечает, что «изолирование черепов было характерно для культурной традиции докерамического неолита Иерихона на стадии А (8500 -7500 гг. до н.э., Иерихон, телль Мюрейбит). Стадия культурного развития, соответствующая периоду докерамического неолита Иерихона на стадии В (7600 – 6000 гг. до н.э.), характеризуется разнообразными проявлениями культа черепа на всей левантийской территории. В конце этого периода распространяется такой специфический обряд, как моделирование черепов умерших» [Медникова 2010: 99].



Рисунок 12. Иерихонская глиняная маска VII тыс. до н.э.

Наиболее ранним свидетельством моделирования черепов умерших являются так называемые иерихонские глиняные маски (Рисунок 12), найденные в поселке раннего (докерамического) неолита на территории Ближнего Востока, который сегодня отождествляется с Библейским Иерихоном. Эти маски датируются VII тысячелетием до н.э., они «созданы из хорошо отмученной глины, в глаза вставлены раковины каури, вообще эти портреты выполнены с высокой степенью реализма…» [Пежемский

1999: 154]. На основании найденных археологических находок, а также богатого этнографического материала по Новой Гвинее и Тропической Африке, современные антропологи постулируют устойчивую смысловую связь «культ предков (культ головы как частное проявление) – скульптурные маски» в сфере духовной культуры традиционных дописьменных обществ [Пежемский 1999: 158].

В материальной сфере духовной культуры традиционных обществ эта смысловая линия, по мнению Д.В. Пежемского, может быть конкретизирована: линия «почитание головы / черепа – мумификация / моделировка лица на черепе» в дальнейшем разветвляется на две линии: 1) «погребальные маски – ритуальные маски – театральные маски»; 2) «погребальная скульптура – портретная скульптура» [Пежемский 1999: 162].

Моделирование черепов умерших или пластическое воспроизведение лица на человеческом черепе является одним из наиболее ранних свидетельств воспроизведения человеческой индивидуальности в материальной сфере культуры наших предков.

Культ черепа (головы), возникший в первобытном обществе верхнего палеолита (ок. 35000 – 9000 лет до н.э.), является случаем культурной метонимии: почитание черепа или мертвой головы – это почитание самого предка, поскольку внешняя индивидуальность человека связана главным образом с его лицом, которое, с анатомической точки зрения, является передней частью головы.

Кроме того, голова, на которой расположены все органы чувств, связанные с мозгом, с одной стороны, содержит средства для познания внешнего мира, с другой стороны, сама является символом жизни. Недаром в первобытных, древних и некоторых современных традиционных обществах окончательная победа над человеком связывается с его обезглавливанием (ср. кельтские и древнегерманские культы трофейных голов); при этом принимается, что голова, будучи отсеченной, способна «жить» отдельно от тела и быть психически идентичной прежнему целому человеку. Ярким примером является эпизод из известного древнего сборника валлийских повестей, Мабиногиона, а именно: в

кельтской легенде о Бранвен, дочери Лирра, Бендигейд Вран, брат Бранвен, получив смертельное ранение в битве с ирландцами, приказывает своим товарищам отсечь его голову и отнести на Белый холм в Лондон…в ходе дальнейших странствий оставшегося отряда голова Брендигейда Врана советовала, шутила, в общем была с ними «будто живой Брендигейд Вран» [Мабиногион: 113]. Другим примером является пророчествующая голова Орфея, после того как его тело было растерзано менадами по приказу разъяренного Диониса. В англо-саксонской поэме «Беовульф» воины в бою прикрывают головы друг друга: *we on orlege hafelan weredon* // и в сечах мы прикрывали [головы] друг друга (B., 1326-1327), Виглаф несет стражу, охраняя голову поверженного Беовульфа и недруга (*heafodwearde*); др.-англ. *heáfod-weard* ‘охрана господина’ [Bosworth, Toller 1898].

Возвращаясь к античности, необходимо сказать, что в духовной культуре древних греков и древних римлян голова человека концептуализируется как сложный материальный знак, при этом означаемым является отдельный человек, как индивид, отличающийся от других индивидов морфологическими и психическими проявлениями, а также совокупностью социально обусловленных черт. Как и в предшествующих примерах, отношение между означающим (головой как знаком) и означаемым (отдельным человеком) характеризуется тождественностью или, в системе уровней знаковости Ю.С. Степанова, биологической релевантностью [Степанов 1971].

К примеру, такие отношения явно прослеживаются на материале древнегреческого языка эпохи Гомера:

1) «*τόδε φάρμακον ἐσθλὸν ἐχων ἐς δώματα Κίρκης ἐρχευ, ὁ᾽ κέν τοι* ***κρατὸς*** *ἀλάλκησιν κακὸν ἦμαρ*». (Od.X.286) [Онианс 1999: 113] // «Я спасу тебя», — обещает Гермес Одиссею, страшащемуся магии и зелья Кирки. «Иди в жилище Кирки с этим добрым снадобьем, которая отразит злой день от твоей **головы**» [Онианс 1999: 113].

2) «*Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν ἐκ πολέμοιο. οὔ τι τόσον νέκυος περιδείδια Πατρόκλοιο, ὅς*

κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ' οἰωνούς, ὅσσον ἐμῇ ***κεφαλῇ*** *περιδείδια μή τι πάθῃσι*» (Il. XVII.240) [Πάλλης 1936]. // «Аякс возгласил к Менелаю герою: «Друг Менелай, питомец Зевеса! едва мы, как мыслю, Сами успеем с тобой возвратиться живые из битвы! Я беспокоюсь не столько о теле Менетия сына: Скоро несчастный насытит и псов и пернатых троянских, — Сколько страшусь о главе и своей и твоей» [Гнедич 1829].

3) «*εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν, ἥ κεν ἀπὸ Τρώων* ***κεφαλὰς*** *καὶ τεύχεα κήαι φλέγμα κακὸν φορέουσα*» [Πάλλης 1936] (Il.XXI.333) // «Чтобы тяжелою бурей от моря они налетели и, разжигая свирепый огонь, у троянцев спалили **головы** их и доспехи» [Вересаев 1949], — предлагает Гера Гефесту, имея в виду, разумеется, не только головы, но и тела троянцев.

При этом голова обозначает человека в системе социально значимых ценностей, так, например, честь и бесчестье затрагивают, в первую очередь, голову:

1) «*Τηλέμαχος πεπνυμένος ἦρχ' ἀγορεύειν·"μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην τάων, αἳ δὴ ἐμῇ* ***κεφαλῇ*** *κατ' ὀνείδεα χεῦαν μητέρι θ' ἠμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον*» (Od.XXII.463) [HOMÈRE L'ODYSSÉE 1886] // «Сказал Телемах рассудительный слово: «Вас я жизни лишу, и умрете смертью позорной, Ибо на голову мне и на **голову** матери милой Вы позор навлекли: с женихами тайно блудили» [Шуйский 1948: 424].

2) *«ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ' ἐπ' ἀέθλῳ·τοίην γὰρ* ***κεφαλὴν*** *ἕνεκ' αὐτῶν γαῖα κατέσχεν»* (Od.XI. 549) [HOMÈRE L'ODYSSÉE 1886] // «Лучше бы мне иметь пораженье в споре с Аяксом, Ибо укрыла земля из-за этого **голову** мужа» — восклицает Одиссей, оплакивая Аякса [Там же].

Наконец, голова является вместилищем души (*ψῡχή*): Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» часто употребляет ***κεφᾰλή*** и ***ψῡχή*** **как синонимы.** Так, герои Гомера, подвергающиеся опасности, «рискуют *псюхе*» // *ψυχὰς παρθέμενοι* (Od. III 74) или «головой» // *παρθέμενοι κεφαλὰς* (Od. II 237) [Онианс 1999: 117].

Биологическая релевантность репрезентации «отдельный человек, член социума – голова человека» была характерна также и для архаического римского общества.

Одним из наиболее древних свидетельств значимости человеческой головы в культуре древних римлян является обряд Сатурналий. Как известно, Сатурн был низвергнут с трона Юпитером. После, прибыв в Лаций из Греции, он, по преданию самих древних римлян, стал первым доисторическим царем страны, правление которого было золотым веком изобилия и равенства всех людей.

Древнеримский филолог и писатель Макробий свидетельствует, говоря о происхождении Сатурналий, что «еще пеласгам (прим. автора – греческие переселенцы из Аркадии) Додонский оракул повелел приносить богу Аиду в жертву человеческие головы, а древнейший Лаций принял этот обычай по Дельфийскому оракулу Аполлона, однако прибывший в Италию Геракл научил латинов **заменять человеческие головы небольшими масками**» [Кофанов 2010: 31].

Нужно отметить, что прибытие Сатурна в Лаций из Греции и упоминание пеласгов в связи с происхождением обряда Сатурналий косвенно может указывать на преемственность древними римлянами древнегреческой культурной традиции. В связи с этим особый интерес представляет высказывание Макробия: «Поэтому долгое время они верили, что Дит умиротворяется человеческими головами, а Сатурн – человеческими жертвоприношениями, из-за Оракула, в котором было: **«Аиду принесите головы, отцу – людей»** // «***καὶ κεφαλὰς Ἄιδῃ καὶ τῷ πατρὶ πέμπετε φῶτα»*** [Кофанов 2010: 31]. Как видно из приведённого высказывания Макробия, древнеримский ученый называет Сатурна отцом, видимо, отцом латинов.

Далее Макробий пишет, что в 509 г. до н.э. консул Брут приказал, чтобы «отеческие боги» умилостивлялись не человеческими головами, а их подобием (nomina capitum) – масками (oscilla), сделанными из маковых головок: «*Quod sacrificii genus Iunius Brutus consul pulso Tarquinio aliter constituit celebrandum nam capitibus alii et papaveris supplicari iussit ut responso Apollinis satis fieret de* ***nomine***

capitum *remoto scilicet scelere infaustae sacrificationis: factumque est ut effigies Maniae suspensae pro singulorum foribus periculum, si quod immineret familiis, expiarent*» // «После изгнания Тарквиния консул Брут постановил справлять этот род жертвоприношений иначе. Ведь он приказал, чтобы (маны) умилостивлялись другими головами, а именно — маковыми головками, так как оракулу Аполлона достаточно, надо думать, чтобы злодеяние несчастного жертвоприношения заменялось лишь **формой голов**. И было сделано так, чтобы вместо душ отдельных людей посвященные Мании фигурки искупали опасность, если таковая угрожала домочадцам» [Кофанов 2010: 31].

Эти маски назывались *oscilla*. *Oscillum* – уменьшительное от *os, oris* – ‘уста’, ‘лицо’, ‘маска’, т.е. ‘маленькая маска’. Во время Сатурналий такие маски подвешивались на дерево на перекрестке дорог и имели портретное сходство со своими хозяевами, количество которых всегда соответствовало количеству членов семьи, включая рабов [Там же: 32].

Таким образом, семиотическая эволюция репрезентации объекта жертвоприношения в обряде Сатурналий характеризуется ослаблением уровня знаковости: от тождества между означающим и означаемым (caput) к подобию тождества или к частичному тождеству (nomine capitum).

Маска предков (как предметный знак), по-видимому, является результатом аналогичной семиотической эволюции, отражая этап частичного тождества со своим означаемым (умершим предком). Её значимость для древних римлян наиболее ярко и полно проявлялась в институте *ius imaginum.*

Ius imaginum – это, с одной стороны, право знатного римского гражданина (как правило, потомка высших государственных сановников, или курульных магистратов) наследовать, хранить в атрии и публично представлять маски своих предков, с другой стороны – это право на изготовление и сохранение собственной погребальной маски. По свидетельству древнеримских и древнегреческих историков, институт ius imaginum древнее самого Рима:

«Ливий. Liv. I. 34.6: *in regnum Numan a Curibis, et Ancum Sabina matre ortum nobilemque una* ***imagine*** *Numae esse»* // «Рожденный от матери-сабинянки во

время правления Нумы Помпилия Анк Марций, к тому же, был знатен лишь **изображением (маской)** одного Нумы» [Кофанов 2010: 36].

«Liv. I. 47.4: *di te penates patriique et patris imago et domus regia et in domo regale solium et nomen Tarquinium creat uocatque regem»* // «…сами боги, отеческие пенаты, отцовская маска, царский дом, царский трон в доме, имя Тарквиния – все призывает тебя, все возводит на царство» [Там же: 36].

Древнеримский поэт Вергилий в Энеиде (Aen. VII. 177-181) описывает, что в покоях дворца царя Латина были imagines (effigies) Итала, Сабина, Сатурна, двуликого Януса и правителей самых древних (origine reges):

«*quin etiam ueterum **effigies** ex ordine auorum / antiqua e cedro, Italusque paterque Sabinus …, / Saturnusque senex Ianique bifrontis **imago** / uestibulo astabant, aliique ab origine reges*» [Jahn 1852: 216] // «Дедов царственных здесь подобия из кедра были / В порядке древнем: Итал и отец Сабин…, / и старец Сатурн и изображения двуликого Януса были в вестибюле, и другие цари из древнейших…» [Кофанов 2010: 36].

Наиболее полные сведения об институте ius imaginum содержатся в описаниях Полибия (первая половина II в. до н. э.). По данным древнегреческого историка, суть ius imaginum в полной мере проявлялась в публичном представлении масок предков, являвшихся неотъемлемой частью торжественного погребального ритуала в честь умершего знатного гражданина Древнего Рима.

Итак, гражданину Древнего Рима, происходившему из рода высших магистратов, после его смерти предоставлялось право провести на римском форуме торжественный погребальный ритуал с участием всех римских граждан. Этот ритуал начинался с похоронной процессии, которая представляла собой шествие «предков» умершего: люди, сходные с предками ростом и фигурой, облачались в «одежды и все знаки отличия магистратов и триумфаторов, которые те получили еще при жизни» [Кофанов 2010: 34]. На их лица были надеты восковые маски предков (*cerae*).

Покойника вместе с его знаками отличия относили на форум и ставили на ростры, чтобы он был виден всем присутствующим, а «предки» рассаживались

вокруг покойного в кресла из слоновой кости. После на ростры поднимался, как правило, старший сын и произносил хвалебную речь о заслугах умершего (*laudatio funebris*).

Немного отступая от описания Полибия, нужно отметить, что позднее обычай *laudatio funebris* отразился в традиции надгробных надписей на могилах знатных римских граждан, ср. надгробную надпись на могиле Сципионов:

«Корнелий Люций Сципион Брадатый {1}
Гнеем он отцом рожденный, храбрый муж и мудрый,
Внешностью своей он равен был блестящим доблестям;
Тот, что был у вас и консулом, и цензором, эдилом,
Взял в самнитской он земле Таврасию, Цисавну,
Подчинил он всю Луканию,
И заложников оттуда вывел он.

В одном согласны все римляне —
Был на войне он лучшим мужем,
Люций Сципион, сын Бородатого;
Он был у вас и консулом, и цензором, и эдилом.
Он взял войною Корсику, Алерию; а в городе
Он Бурям храм воздвиг, обещанный за помощь» [Дератани, Тимофеева 1965 Т.2].

После произнесения хвалебной речи изображение покойника с подобающими почестями заключали в деревянный киот и ставили в доме на самом видном месте. Эти восковые маски, или cerae, размещались в шкафах атриума и составляли родовое древо той или иной римской семьи.

Следует отметить, что право масок «редко передавалось с использованием термина *persona*, гораздо чаще употребляется более общий термин *imago* (изображение) или *cera* (восковая маска)» [Кофанов 2010: 36]. Однако это не свидетельствует о том, что на момент появления этого культа отсутствовало употребление persona: значение imago в данном контексте – это запечатление подобия между умершим предком (который ранее был persona) и маской (cera), а

также между умершим предком и человеком с надетой маской во время проведения культа.

Именно значения ‘подобие’, ‘отражение’, ‘копия’ являются основными для imago, что подтверждает такой источник, как Оксфордский латинский словарь (напр., «*expressam in cera ex anulo suam imaginem* Pl.Ps.56;…*imaginem M.Antoni crudelitatis in Dolabeila cernitis Cic.Phil. II. 6; tuum filium, imaginem tuam* Q.fr.II.3.3…*captae*…*eraturbis imago* Met.12.225» [Glare 1968: 831]).

Таким образом, сама восковая маска (cera) представляет собой предмет материальной культуры, основная функция которого – imaginari, т.е. «изображать», «копировать», «уподоблять». Характер и значение вышеупомянутой функции восковой маски предков гораздо важнее, чем материал (воск – cera), из которого она изготовлена, или ее внешний вид (figura):

«Sallust. Iugurt. 4. 5-6: *nam saepe ego audivi Q. Maximum, P. Scipionem, praeterea civitatis nostrae praeclaros viros solitos ita dicere cum maiorum imagines intuerentur vehementissume sibi animum ad virtutem accendi. Scilicet non* ***ceram*** *illam neque* ***figuram*** *tantam vim in sese habere sed memoria rerum gestarum eam flammam egregiis viris in pectore crescere…»* // я часто слышал, что Квинт Максим, Публий Сципион и другие прославленные мужи нашего государства имели обыкновение говорить, что, когда они смотрят на изображения своих предков, они загораются сильнейшим стремлением к доблести. Разумеется, не этот **воск** и не **внешний вид** (масок) так сильно на них действуют, но память о великих деяниях этих прославленных мужей, из-за которых в груди разгорается пламя...» [Кофанов 2010: 33-34].

Очевидно, что imago – абстрактное признаковое слово, не имеющее своим объектом конкретного денотата или класса денотатов. Поэтому представляется, что словосочетание ius imago было бы более правильно переводить как ‘право на изображение’. В данном контексте, применительно к imagines maiorum, изображение обозначает «воссозданный в маске лик умершего предка, запечатленный сразу после его смерти с целью сохранения памяти о нем», и эта цель существенна для именования.

Этим частично объясняется тот факт, что в письменных источниках право на изображение (ius imaginum) редко передавалось с использованием термина persona. Согласно описанию Полибия, в этом праве важна сама возможность воссоздания и сохранения точной копии лица умершего предка, а не его маска (persona) сама по себе.

Маска в этом ритуале – средство, а изначальная цель – сохранение памяти о выдающихся предках того или иного патрицианского рода.

Так, сам Полибий определяет значение *imago* (*εἰκών*) через древнегреческое слово *πρόσωπον*, являющееся общепризнанным греческим эквивалентом лат. *persona*:

«*ἡ δ' **εἰκών** ἐστι **πρόσωπον** εἰς ὁμοιότητα διαφερόντως ἐξειργασμένον καὶ κατὰ τὴν πλάσιν καὶ κατὰ τὴν ὑπογραφήν*» [Кофанов 2010: 34] // **Изображение** представляет собой **маску**, которая является, насколько возможно, точным воссозданием формы и черт (лица умершего).

Очевидно, что стремление к такой точности в передаче черт лица умершего предка и закрепление права на такую передачу за членами патрицианских родов было социально обусловлено, что отразилось в культурной сфере Древнего Рима.

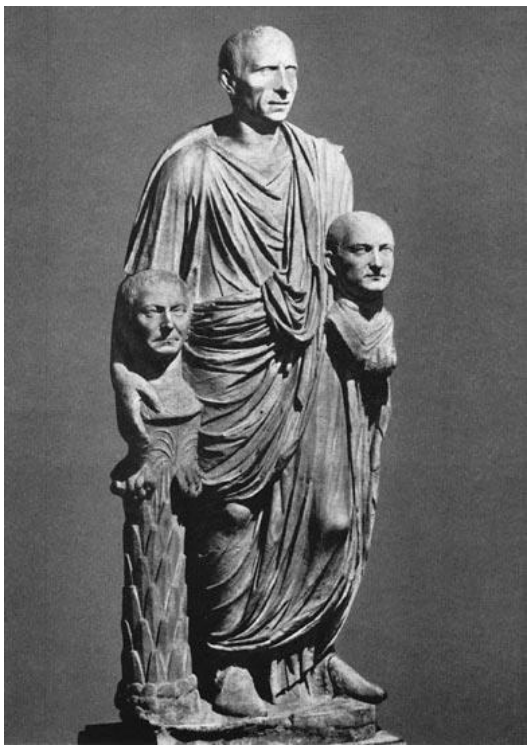


Рисунок 13. Тогатус Барберини, статуя римлянина с изображениями предков. I в. до

Так, именно в древнеримской культуре изображения предков достигали наибольшего сходства, наибольшей иконичности. Этот культурный феномен впоследствии в полной мере проявился в римском скульптурном портрете (рисунок 13): «Возникновение римского портрета тесно связано с развитием в Риме культа предков, уходящего своими корнями в религию и обычаи народов, населявших Италию до подчинения ее Римом, **особенно этрусков**. В изображениях предков римские скульпторы стремились достигнуть, прежде всего,

иконографического сходства. Ранние портреты времени Республики отмечены доходящим до натурализма правдоподобием в передаче лица человека» [Бритова, Лосева, Сидорова 1975].

Выше отмечалось, что в духовной культуре древних греков и древних римлян голова человека концептуализируется как сложный материальный знак, который характеризуется отношением тождества между означающим и означаемым. Однако голова человека, даже будучи отсеченной от тела, не может передавать информацию во времени и пространстве, т.к. материальная форма этого знака не характеризуется постоянством: биологические ткани подвержены разложению и гниению.

Стремление древних преодолеть временной барьер в передаче сообщения, дабы репрезентировать умершего в сообществе живых, выразилось в появлении описанного выше культа черепа, головы, а затем – культа маски предка. В терминах семиотики мы можем сказать, что произошло ослабление уровня знаковости по линии: биологическая релевантность (тип знака – тождество) → частичная релевантность (тип знака – частичное тождество).

3.2.2. Pater familias как единственное полноправное лицо (persona sui iuris) в родовом обществе Древнего Рима: репрезентация господствующего класса patres в языке и материальной культуре

Описанный Полибием погребальный ритуал, обладая выраженным публичным характером, на протяжении нескольких веков отражал господство в обществе Древнего Рима сословия патрициев (patres). Только они имели право представлять маски своих предков в погребальных обрядах и публичных процессиях; плебеи, или простолюдины, не имели такого права.

Таким образом, ius imaginum являлось одним из главных символов господства привилегированного класса. Поэтому не удивительно стремление знатных древних римлян (patres) зафиксировать в материальной форме изображения своих предков (imagines maiorum), происхождение от которых обосновывало элитарное положение в обществе главы того или иного римского рода.

В сфере языка представления об особом положении этого сословия репрезентировались главным образом в звании, обозначавшем особый социальный статус – «pater familias», который одновременно подчёркивал знатность происхождения и индивидуальность его носителя.

Первоначально лицо, носившее это звание, обладало всей полнотой власти как над подчинёнными ему лицами, так и над своим имуществом, причём эта власть обосновывалась санкцией предков и богов. Примечательно, что далёкие мифические предки и боги в некоторых контекстах также именовались «patres». Так, Вергилий в приведённом выше отрывке из Энеиды Итала, Сабина, Сатурна, двуликого Януса называет «patres», а Юпитера, высшего из богов – *pater omnipotens* // отец всемогущий (Aen. I. 60).

В этом употреблении pater обозначает не природного отца, но верховного бога древних римлян (бог-«отец»), и это значение, как показал Э. Бенвенист, является гораздо более древним, чем «отец-кормилец», который растит ребенка. Этимология слова *Iupiter* (*Jupiter*) является частным случаем, подтверждающим это положение:

«латинская форма *Jupiter* ведет свое происхождение от формулы обращения **dyeu pətēr* «Небо отче!», которая в точности соответствует греческому вокативу *Zeu pater* (*Ζεῦ πάτερ*). Наряду с *Jupiter* сохранился номинатив *Diēspiter*, соответствующий *dyauh pitā*. К свидетельствам латыни, греческого, ведического можно добавить умбрскую форму *Jupater*…» [Бенвенист 1995: 148].

Следовательно, наиболее вероятно, что изначальное, базовое значение pater – не «природный» отец как некое физическое лицо, но отец как бог-родоначальник и основоположник римской государственности. В сочетании с familia этот термин обозначал отца как субъекта власти по отношению к членам своим семьи (к членам семьи относились и рабы, servi), а также фамильному имуществу, которое было в его власти, или в его праве:

«Ulpianus. Nam civium romanorum quidam sunt patres familiarum, alii filii familiarum, quaedam matres familiarum, quaedam filiae familiarum. ***Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis*** *sive puberes sive impuberes: simili modo*

matres familiarum; filii familiarum et filiae, quae sunt in aliena potestate. nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est: item qui ex filio meo et uxore eius nascitur, id est nepos meus et neptis, aeque in mea sunt potestate, et pronepos et proneptis et deinceps ceteri» (D. 1.6.4) // «Из римских граждан некоторые суть отцы семейства, а некоторые – сыновья семейства, некоторые – матери семейства, некоторые – дочери семейства. **Отцы семейства – это те, которые обладают своей властью**, будь они совершеннолетние или несовершеннолетние; подобно этому, матери семейства, сыновья семейства и дочери семейства находятся в чужой власти. Ибо тот, кто рождается от меня и моей жены, находится в моей власти; также тот, кто рождается от моего сына и его жены, т.е. мой внук или внучка, также в моей власти, и правнук, и правнучка, и т. д.» [Кофанов 2005].

Как видно из приведенного выше контекста, предикат «*sunt suae potestatis*» по отношению к субъекту «*Patres familiarum*» стоит в логическом отношении тождества, следовательно, «обладание *sui potestas*» – это неотъемлемый признак категории pater familias.

Первоначально власть отца – manus (от лат. manu ‘рука’) – носила абсолютный характер и равно распространялась на всех членов семьи, свободных и рабов, а также на семейное имущество [Бартошек 1989: 211].

Семантика слова *manus* ‘власть’ фиксирует оставшиеся от мотивирующего слова *manu* ‘рука’ денотативные компоненты значения: абсолютный характер власти patris проявлялся, в частности, в непосредственном физическом господстве домовладыки над своей фамилией, вплоть до права распоряжаться жизнью и смертью подвластных (*ius vitae et necis*).

Позже слово manus относилось лишь к отношениям между мужем и супругой, совершившей *conventio in manum viri* (переход под власть мужа): «*Sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent; in manum autem feminae tantum conveniunt»* (Gai. I. 109) [GAI INSTITVTIONVM] // *In potestate* обыкновенно бывают и мужчины и женщины, *in manum* – только женщины.

С семиотической точки зрения, переход в слове manus от значения «рука» к значению «власть» является ослаблением признака «хватать, брать, держать»,

выражающем характер господства patris familiae: «Глава семьи силою, хватая их рукой (manu capere), заставлял рабов и крупный домашний скот работать на себя» [Краснокутский, Перетерский, Флейшиц 1999]. Этот признак обнаруживает свою номинацию уже в абстрагированном, условном значении в таких известных юридических терминах римского права, как *mancipium* и *res mancipi*.

Как отмечает Л.Л. Кофанов, «mancipium в источниках обозначало прежде всего власть над человеком или животным» [Кофанов 2006 (2): 49-51]:

- *Varr.* L. L. VI. 85: «*Mancipium quod manu capitur*» // Mancipium то, что берется рукой;
- *Isid*. Orig. IX. 4. 45: «*Mancipium est, quidquid manu capi subdique potest, ut homo, equus, ovis. Haec enim animalia statim ut nata sunt, mancipium esse putantur. Nam et ea, quae in bestiarum numero sunt, tunc videntur mancipium esse, quando capi sive domari coeperint*» // «Mancipium – это все то, что может быть взято и подчинено рукой, как, например, человек, лошадь, овца. Ведь эти животные сразу как рождаются, считаются взятыми в mancipium. Ведь и те животные, которые причисляются к диким, по-видимому, тогда становились mancipium, когда их захватывали или когда они приручались».

Также под mancipio понималась ритуализованная распорядительная власть домовладыки в отношении вещей, составлявших категорию «res mancipi», в которую входили объекты, наиболее ценные для ведения земледельческого хозяйства: то есть рабы, быки, лошади, ослы, мулы [Дождев 1996: 310]. Как указывает один из ведущих российских специалистов в области римского права Д.В. Дождев, «термин «res mancipi» несет в себе указание на критерий этого деления вещей — их подверженность mancipium, древнему ритуалу с использованием медного бруска и весов (per aes et libram), который в классическую эпоху стал называться «mancipatio» [Дождев 1996: 244].

Pater familias, распоряжаясь подвластными ему лицами (personas) и подвластным ему социально значимым имуществом (res), как бы передавал их из-под своей руки под руку другого patris familiae: «*personae serviles et liberae, item animalia, quae mancipi sunt, nisi in praesentia sint, mancipari non possunt; adeo*

quidem, ut eum, qui mancipio accipit, adprehendere id ipsum, quod ei mancipio datur, necesse sit; unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur» (Gai. I. 121) [GAI INSTITVTIONVM] // «рабы и свободные, а равно животные, причисляющиеся к разряду res mancipi, могут быть манципированы только непосредственно присутствуя, причем необходимо, чтобы **тот, кто приобретает, касался собственноручно того самого предмета**, который ему передается; потому-то и акт этот называется mancipatio, так как вещь берется рукой» [Вересаев 1949].

При этом одинаково могли быть подвергнуты манципации как рабы (servi), так и свободные (liberi): «*Eo modo et serviles et liberae personae mancipantur*» (Gai. I. 120) [GAI INSTITVTIONVM].

Таким образом, mancipium – это власть индивидуально-распорядительная, она может быть отнесена к тому же семантическому полю, что и pecunia, рассмотренная нами ранее во второй главе диссертационного исследования. Именно индивидуализированной властью (mancipium) отца семьи вещь выходит из статичной patria potestas (категория вещей – «familia»), становясь имуществом оборотным (категория вещей – «pecunia»). Поэтому, можно сказать, что patria potestas – это власть санкционированная фамилией, в лице ее самого старшего представителя – мужчины-отца этого семейства, который является посредником, проводником воли предков.

Эта мысль в развёрнутом виде представлена у Д.В. Дождева: «Медиатором — посредником между миром духов и миром живых (еще только идущих к смерти) — выступал ближайший к прародителю член семейства — **pater familias** (домовладыка). Отправляя культ предков и будучи главой семейных святынь (sacra familiares), домовладыка нес ответственность за продолжение дела прародителя и дальнейшее существование вверенной ему группы. Авторитет этого малого лидера воспринимается в межсемейном социальном пространстве как его личная власть над familia — patria potestas, а принадлежность к семейству его членов фиксируется правопорядком как подчинение домовладыке. Ущемление свободы воли, связанное с тем, что значительное место в структуре личности архаического человека занимали

интересы семейства, было зафиксировано правосознанием как дефект правоспособности, **что отразилось в терминологии права лиц»** [Дождев 1996: 246,311] – **personae aliene iuris / personae aliene potestatis**.

Нужно отметить, что римская «семья» – это союз, основанный на так называемом агнатском (лат. adgnatus дословно – «рожденный после»), а не на кровном, когнатском (от лат. cognati – «рожденные вместе») родстве. Adgnati были связаны воедино властью общего родоначальника, как если бы он был живым. Поэтому первоначально familia – это родовой союз (gens), ведущий начало от общего предка и имеющий свои собственные святыни, ритуалы и обычаи (mores), беспрекословно соблюдавшиеся членами «семьи».

Таким образом, взаимоотношение лиц в familia являлось для древних римлян отражением предписанного правопорядка, в центре которого находилось лицо (*persona*), носившее титул «pater familias», и в силу этого обладавшего *«собственной властью» (persona sui potestas),* или *«собственным правом» (persona sui iuris).*

Patria potestas, санкционированная божественной волей, создавала локальный правопорядок в пределах одного рода (gens). Так, Д.В. Дождев отмечает, что familia – это автономная социальная единица: «Лица in potestate исключены из сферы влияния других автономных единиц, обретая в этом состоянии защиту и определенность статуса. Пребывание в potestas означает — по логике социально-исторического генезиса — не столько подчинение, сколько принадлежность к автономной социальной единице. Римляне (Cic, de inv., 1,25,35; 2,9,30) противопоставляли лицам «*in potestate*» или «*cum potestate*» лиц вне и без *potestas* — «*privati*» (дословно: ‘лишенные’), «*singuli*» (‘отдельные’)» [Дождев 1996: 247].

Санкционированность *patriae potestatis* волей богов и предшествующих patres обеспечивалась отправлением культа предков и иными сакральными ритуалами, которые составляли «предправо» архаичной эпохи Древнего Рима. В этом смысле patres являлись единственными субъектами этого «предправа» – personae sui iuris.

Как было показано выше, в тот период ius понималось как совокупность формул, соответствующих божественной воле, а не как совокупность правил или предписаний от народа или от государства **(**ср. высказывание Валерия Максима: «Valerius Maximus. II. 5.2: *Ius ciuile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum inmortalium abditum solisque pontificibus notum…* // Цивильное право скрыто в течение многих веков среди жертвоприношений и церемоний, было известно лишь одним понтификам» [Кофанов 2010: 40]).

Основываясь на сказанном выше, можно утверждать, что осуществление *patriae potestatis* в древнейший период Рима являлось не чем иным, как способом достижения соответствия тому природному, объективному, божественному порядку, который, по представлению древних римлян, пронизывал мироздание. Patria potestas санкционировалась исполнением ритуалов, установленных жрецами-толкователями **Patriae omnipotentis** – верховного бога Юпитера. Как справедливо указывает Л.Л. Кофанов: «Значимость ритуала в древнейшем сакральном праве вполне понятна: всякое искажение ритуала, установленного жрецами-толкователями воли богов, в понимании простого римлянина было чревато искажением воли, попранием власти самого верховного бога Юпитера» [Кофанов 2006 (1): 185].

Примечательно, что, в некоторых контекстах право отца семейства (patria ius) полностью отождествляется с его властью (patria potestas):

1) «древнейшее право отца распоряжаться жизнью и смертью своих детей обозначается античными авторами и как ius vitae et necis, и как potestas vitae et necis» [Там же: 185];

2) «*Ulpianus…**patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis** sive puberes sive impuberes: simili modo matres familiarum; filii familiarum et filiae, quae sunt **in aliena potestate»*** (D. 1.6.4) // «Ульпиан…**Отцы семейства – это те, которые обладают своей властью**, будь они совершеннолетние или несовершеннолетние; подобно этому, матери семейства, сыновья семейства и дочери семейства находятся **в чужой власти»** [Кофанов 2005] (Ср. с высказыванием Гая (Gai. I.48-49): «*De iure personarum alia divisio sequitur, quod quaedam **personae sui iuris sunt**, quaedam*

alieno iuri subiectae sunt. videamus itaque de his, ***quae alieno iuri subiectae sunt***» [GAI INSTITVTIONVM] // Следует другое деление с точки зрения права лиц: некоторые лица являются **лицами своего права**, **некоторые подчинены чужому праву**).

Из приведённого высказывания Ульпиана хорошо видно, что словосочетание «pater familias» для современников Древнего Рима не обозначало природного отца, но скорее употреблялось в значении звания, которое persona, civis Romanus, принимал от своих предков. Так, Ульпиан в другом своем высказывании (D. 50.16.195.2) отмечает:

«Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc ***nomine appellatur***, ***quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus****: denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim subeunt»* [DIGESTA] // Отцом же семейства называется тот, кто в доме обладает собственностью (господством) и вполне правильно называется этим **именем, даже если у него нет сына**: **ведь (этим словом) мы обозначаем не только его личность, но и право**; впрочем, и малолетнего сироту мы называем отцом семейства. А когда отец семейства умирает, то всякая отдельная личность, которая была ему подчинена, начинает иметь свою отдельную семью, ведь они каждый по отдельности принимают на себя звание отца семейства.

Учитывая ранее приведенное высказывание Ульпиана («*…patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis…*»), мы можем сделать вывод, что для римского общества имя «pater familias» являлось реальной или потенциальной характеристикой мужчины, независимо от его возраста, быть началом основной социальной ячейки Древнего Рима – familia, и, следовательно, обладать suo potestate.

С другой стороны, patria potestas не возникала лишь в силу того факта, что над лицом не было какой-либо власти. Власть «отца семейства» – это власть преемственная, перешедшая лицу от его предков (mores), и с этой стороны

званием «pater familias» наделялся тот, чья власть была санкционирована предками и богами.

Таким образом, совпадение значений ius и potestas в формулах, обозначающих господство patris familiae (ius vitae et necis = potestas vitae et necis) не является случайным: власть «отца семейства» – это его право, санкционированное предками и характеризующее его господство над семейным комплексом.

Наконец, сама **ономастическая система** отражала социальную структуру общества, в котором главенствующее положение занимали patres.

Имя patris familiae состояло из трех частей:

1) личного имени (*praenomen*): известно 18 личных имён, использовавшихся римлянами (например: Gaius, Lucius, Quintus, Aulus) [Дворецкий 1998]. Как правило, старший сын получал praenomen своего отца. С 230 г. до н.э. эта традиция была закреплена постановлением Сената. Личное имя (praenomen) могло быть навсегда исключено из «родового использования», если носитель этого имени совершил какой-либо порочащий проступок, несовместимый со славой и честью этого рода [Федорова 1982].

2) родового (*nomen*): все лица, принадлежавшие к одному и тому же роду, имели общее для всех родовое имя, которое в классическую эпоху оканчивалось на –ius (Aelius, Pompeius, Ulpius, Iulius и т.д.), что, возможно, также не случайно и имеет некоторые коннотации с лат. ius (право) или с лат. *ciuis* ‘(со)гражданин’, восходящего к и.-е. форме **keiwo-s*.

3) факультативного названия ветви рода (*cognomen*) – прозвища, например, *Scaevola* ‘левша’ (прозвище рода Муциев), *Crassus* ‘толстый’, *Laetus* ‘тучный’, *Macer* ‘худой’, *Severus* ‘жестокий’, *Probus* ‘честный’.

Таким образом, наибольшую значимость имело именно родовое имя (nomen), название рода (gens). Можно сделать вывод, что именование членов своего рода для древних римлян являлось скорее функцией социализации, нежели функцией индивидуализации. Благородство происхождения, давность и слава истории nomen была взаимообусловлена социальным положением его носителя. Поэтому

полное имя римлянина иногда включало максимально возможное количество предков (ср. например, «*L(ucius) Munatius, L(ucii) f(ilius), L(ucii) n(epos), L(ucii) pron(epos), Plancus* // Луций Мунаций Планк, сын Луция, внук Луция, правнук Луция...» [Федорова 1982]).

Женские имена полностью отражали социальную структуру римского общества: «женщины не имели praenomen; их именем была женская форма названия рода. Так, дочь Марка Туллия Цицерона называлась *Tullia*. Если было две дочери, то к этому имени прибавлялись слова старшая и младшая: *Tullia Major, Tullia Minor*. Если были еще дочери, то они назывались: Tertia ‘третья’, *Quarta* ‘четвертая’ и т. д» [Дворецкий 1998].

Имена рабов. Бесправное положение рабов в Древнем Риме также в полной мере соответствовало значению их имён. Архаические рабские имена составлялись из praenomen господина и слова puer ‘мальчик’, ‘сын’: *Gaipor, Lucipor*, *Marcipor*, и т.д. «Очень часто римские рабы имели имена греческого происхождения: *Александр, Антигон, Гиппократ…* и др…Имя раба могло указывать на его происхождение или место рождения: *Dacus* – дакиец, *Corinthus* – коринфянин; встречаются в надписях рабы с именем *Peregrinus* – иноземец (см. 1 главу диссертации – оппозиция «Свои vs. Чужие»). Вместо имени раб мог иметь прозвище «Первый», «Второй», «Третий» и т.д.» [Федорова 1982].

Имена провинциалов: «лица неримского происхождения вместе с получением права римского гражданства получали praenomen и nomen императора, а свое прежнее имя сохраняли в виде cognomen. Например, свободнорожденный парфянин Мигдоний, взятый в плен римлянами, получил право римского гражданства и стал именоваться Гай Юлий Мигдоний» [Там же 1982].

На протяжении всего императорского периода родовое имя постепенно теряло своё значение в силу как социально-исторических причин (разложение родового строя), так и чисто исторических. Так, приёмный сын Гая Юлия Цезаря из рода Октавиев, вошедший в историю под именем Октавиан Август, явно стыдясь своих предков, стал официально именовать себя «император Цезарь», или просто – «император» [Там же 1982].

Завершая описание ономастической системы римского общества, приведем меткое и емкое высказывание современного исследователя А.В. Карабыкова: «…имя римлянина можно уподобить обобщённой родовой маске, в которой сливались в единый облик черты всех его предшественников по крови, – по ней должно было формироваться его собственное лицо-личность» [Карабыков 2011: 143].

Таким образом, если глубинному уровню концепта «persona» соответствует тождество формы («лицо как часть тела») и содержания («отдельный человек») как следствие их биологической релевантности, на историческом уровне знаковые отношения характеризуются частичной релевантностью, или подобием. Pater familias, занимающий господствующее положение в обществе, репрезентируется в этом социуме: 1) в сфере материальной культуры – через маску предков (лат. *persona* = лат. *imago* = лат. *nomina capitum* (имитация головы) = др.-греч. *πρόσωπον* в значении «изображение»); 2) в сфере языка – через своё родовое имя (*nomen*) и социальное звание (*pater familias*).

Эту линию репрезентации persona можно условно назвать «репрезентация человека в языке и материальной культуре через его социальный статус», так как и маска предков в материальной культуре, и родовое имя, социальное звание в вербальной культуре – это символы господствующего класса patres.

Гипотеза этимологии persona.

Рассмотренные историко-генетические мотивы репрезентации социального статуса pater familias в языке и материальной культуре Древнего Рима позволяют нам вернуться к вопросу этимологии слова persona на раскрытом содержательном фоне.

Выраженный сценарный характер обряда погребения, в котором реализовывался главный символ господства привилегированного класса patres – ius imaginum – право на изображение; публичность его исполнения; музыкальное сопровождение обряда игрой на флейте и исполнением нений; традиция laudatio funebris; структура имени римлянина, отражающая его происхождение; сакральная роль лица, носившего звание «pater familias»; древнее разделение лиц

на категории personae sui iuris и personae alieni iuris – всё это позволяет предположить, что слово persona изначально могло быть связано с инсценированием изображений предков, а также с восхваляющим характером этой инсценировки, призванной сохранить память об умерших и подчеркнуть санкционированность законной власти patres.

В этой связи наиболее обоснованным представляется происхождение persona от лат. глагола sonare ‘петь’, ‘звучать’, ‘оглашать’, ‘прославлять’.

Слово persona, со словообразовательной точки зрения, может быть соотнесено с прилагательным personus (-a, - um) [основа personare + -us] ‘звучащий’, ‘оглашаемый’, являющегося дериватом глагола personare, образованного, в свою очередь, предлогом per (‘через’, ‘посредством’, ‘по причине’, ‘от’, ‘путём’, ‘от имени’, ‘ради’, ‘прикрываясь’, ‘под видом’) и глаголом sonare [Glare 1968: 1357].

Если предположить, что мотивировочный признак, лежащий в основе номинации persona, связан со значением personare ‘воспевать, восхвалять, прославлять’, и при этом учитывать связь этого значения с надетой на голову человека маской (как показал в своей реконструкции Гавий Басс), а также тот содержательный фон, на котором она использовалось, то можно предложить по крайней мере два варианта реконструкции:

1) «звучащая/поющая маска», что соответствует активному значению personus – ‘звучащий’;

2) в этом случае второй вариант реконструкции (который мог существовать одновременно с первым) должен соответствовать пассивному значению personus – ‘оглашаемый’; в данном значении слово persona могло быть связано как с прославляемыми во время похорон именем рода (см. выше laudatio funebris), с маской предка, а также с самим событием, которое имело характер прославления деяний умершего.

3.3. Историко-генетические мотивы семантического перехода: ‘persona – театральная маска’ → ‘persona – субъект права’

Начиная с появления Законов XII таблиц в середине V в. до н. э., и в ходе дальнейшей борьбы плебеев за свои права, значение знатности происхождения римского гражданина для осуществления им своих гражданских прав перманентно уменьшается. Итогом этой борьбы стал закон Гортензия в 287 г. до н. э., которым было провозглашено, что решения плебейских народных собраний (плебисцитов) имеют обязательную силу для всех граждан республики. Это была окончательная победа плебеев в борьбе с патрициями: наступила эпоха формального равенства всех римских граждан перед законом. С этого времени начинает активно формироваться правовая реальность, в которой участвует каждый гражданин Рима, и отражающий ее юридический дискурс.

Примечательно, что употребление лексемы persona в значении «театральная маска» становится основным **со второй половины III в. до н.э.** [Glare 1968: 1715 – 1729]. Значение «лицо как субъект права», по-видимому, начало распространятся со II в. до н. э. Появление и распространение театральных масок, развитие театрального искусства в Риме совпало с активной фазой борьбы плебеев с патрициями: в 337 г. до н. э. плебеям разрешается занимать должность претора, в 300 г. до н. э. плебеям разрешается входить в жреческие коллегии понтификов и авгуров, и, наконец, **в 287 г. до н. э.** решения плебесцитов (народных собраний) становятся обязательными для всех граждан Рима.

Таким образом, театральная культура Древнего Рима начинала развиваться на фоне становления новых социальных взаимоотношений и, соответственно, активного развития новой правовой культуры, формировавшейся на основе принципа формального равенства граждан перед законом.

Период господства pater familias в обществе Древнего Рима также нашёл своё отражение в театральном дискурсе. Как было показано выше, в римском театре существовал феномен дополнительного распределения масок, в соответствии с

которым для исполнения роли гражданина, обладающего собственной властью, не существовало типизирующей маски, тогда как такая маска предусматривалась для исполнения ролей подвластных всех категорий. В этом смысле остальных членов семейства, по отношению к pater famlias, можно назвать «безликими».

Эта «безликость» подвластных ярко характеризовала господство pater familias в тот период, когда только он имел «лицо»: вплоть до принятия Законов XII таблиц в 455-454 гг. до н. э. положение подвластных не сильно отличалось от положения рабов. Репрезентация подвластных как «безликих», по-видимому, вообще характерна для античной культуры. Так, Диоген Лаэртский, описывая в своём трактате (D. L. 4.7) биографию античного философа Биона Борисфенита, характеризует социальное положение отца Биона:

«ἔχων οὐ πρόσωπον, ἀλλὰσυγγραφὴν ἐπὶ τοῦ προσώπου, τῆς τοῦ δεσπότου πικρίας σύμβολον» [Hicks 1925] // Он не имел лица, но роспись по лицу как знак жестокости своего хозяина.

К категории «безликих» первоначально относились и римские актёры, которыми становились выходцы из среды рабов и вольноотпущенников. Как было сказано ранее, вплоть до первой половины I в. до н. э. единственным жанром, в котором им разрешалось использовать маски, были ателланы: свободные римские граждане, любившие участвовать в ателланах, дабы скрыть своё «лицо» от бесчестья актёрской профессии, надевали маски, растворяясь, таким образом, в среде не имевших «лица».

Подобно пространству, которое создавали ателланы, пространство развивающегося юридического дискурса опиралось на типизированные стереотипные репрезентации той роли (в ателланах, как известно, использовалось четыре типизированных стереотипных маски), которую играло лицо, скрытое за persona. Для нового права, в котором основным источником стал закон, противопоставление «лица» римского аристократа другим лицам перестало иметь былое значение: значимой становилась та социальная роль, которую исполнял римский гражданин в соответствии с предписанным

правовым сценарием, являясь в нем в разных качествах или обличьях: истца, ответчика, продавца или покупателя и т.д.

Таким образом, в республиканский период складывается другая линия репрезентации persona, которую можно условно назвать «репрезентация человека в языке и материальной культуре как отдельного члена общества через характер выполняемой им социальной роли», что ясно указывает на вектор произошедшего семантического перехода: от прямого значения ‘театральная маска’ к переносному значению ‘социальная роль’ (*persona* = *πρόσωπον* в значениях ‘действующее лицо’, ‘личина’ = *persona* как ‘социальная роль человека’).

Мотивы появления актуального значения persona ‘субъект права’ во многом схожи с мотивами появления значения ‘социальная роль’. Борьба плебеев за свои гражданские права с патрициями сопровождалась перманентным повышением роли закона (lex) как источника права по отношению к «mores maiorum» (обычаям патрицианских родов). С 287 г. до н. э. закон, по отношению к другим источникам права (*mos* – «обычай» и *fas* – «божественное право»), занимает, безусловно, доминирующую роль. Положение человека в римском обществе отныне определяется не его происхождением, которое доказывалось масками предков, а способностью иметь права (*caput* букв. ‘голова’, также ‘правоспособность’), которые установлены сенатом и народными собраниями. Во II в. н. э. знаменитый римский юрист Гай констатирует: «…totum gentilicium ius in desuetudinem abiise…(…все родовое право совершенно вышло из употребления…)» [Кофанов 2010: 41].

С прекращением существования родового строя, символом которого было ius imaginum (право родовых масок), приходит формальное равенство римских граждан перед законом, что, в свою очередь, символизируется ius personarum. Несмотря на изменение общественных отношений, в праве лиц сохранилась общая смысловая линия концепта, особенного ярко явствующая на его глубинном и историческом уровнях: **«репрезентация отсутствующего в качестве присутствующего».**

Поэтому, тогда как одна, сравнительно небольшая, часть лексики утратила свою актуальность для активно формирующегося юридического лексикона латинского языка (например, imago), другая часть лексики «обновила» свое содержание в соответствии с изменившимися общественными отношениями:

а) *persona*: от значения ‘маска’ к значению ‘лицо права’;

б) *caput*: от значений ‘голова’, ‘глава’ к значению ‘правоспособность’;

в) *familia*: от значения ‘семья как союз агнатов’ (familia communi iure – ’семья по общему праву’) к значению ‘семья своего права’ (familia proprio iure); и др.

Таким образом, когда на смену *ius imaginum* пришло *ius personarum*, основная часть лексики, употреблявшаяся ранее при описании положения patres, стала применяться, в новом значении, для описания всех лиц, признаваемых правом. Это новое значение характеризуется ослаблением главного семантического признака концепта («репрезентация отсутствующего в качестве присутствующего»): от «власти главы семейства» (patria potestas), санкционированной предками, к «способности иметь права» (caput); от «отца семейства» (patris familiae), представленного в правовой реальности масками своих предков, к «лицу права» (persona), представленного в правовой реальности лишь своим именем («nomen»).

Параллельно с линией репрезентации persona, – «репрезентация человека в языке и материальной культуре как отдельного члена общества через характер выполняемой им социальной роли», складывается другая линия, связанная с первой общностью социально-исторического генезиса, – «репрезентация человека в языке и материальной культуре через его способность иметь права и нести обязанности».

ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ

Показанная в результате проведённого анализа структура концепта persona представляет собой трёхуровневую перспективу концептуализированных

областей, соответствующих культурной жизни разных эпох. Каждая из трёх концептуализированных областей состоит из элементов вербальной и материальной культуры, которые характеризуются определённым уровнем знаковых отношений.

1. Глубинному слою концепта persona соответствует тождество формы (лицо как часть тела) и содержания (отдельный человек) как следствие их биологической релевантности.

Концептуализированная область ‘κεφαλή’: др. греч. *κεφαλή* ‘голова’, *ψῡχή* ‘душа’, *πρόσωπον* ‘лицевая часть головы’, лат. *caput* ‘голова’, др.-англ. *heafod, hafela* ‘голова’; *heáfod-weard* ‘охрана господина’.

2. Историческому слою концепта persona соответствует:

2.1. Подобие формы (маска предка / театральная маска) и содержания (pater familias как persona, социальный статус которой определяется через предков familia / типизация мимики лица для выражения соответствующего качества – ателлановы маски, либо самого лица) как следствие их частичной биологической релевантности.

Концептуализированная область ‘imago maiorum’: лат. *imago* ‘изображение’, ‘подобие’, ‘копия’, *imagines maiorum* ‘маски предков’, *ius imaginum* ‘право масок’, лат. *personare* в древнейшем значении ‘воспевать’, ‘прославлять’, *persona* ‘погребальная маска’, др.-греч. *εἰκών* ‘изображение’, ‘подобие’, *πρόσωπον* ‘маска’, *cera* ‘восковая маска’, *oscillum* букв. ‘маленькая маска’, *nōmina capita* ‘искусственные головы’, *effigies* ‘образ’, ‘подобие’, *nomen* ‘родовое имя’, *praenomen* ‘личное имя’, *cognomen* ‘название ветви рода’, *caput* ‘глава, голова’.

Концептуализированная область ‘patria potestas’: лат. *pater familias* ‘отец семейства’, ‘отцовская власть’, и.е. **pətēr*, лат. *Iupiter* ‘Юпитер’ – *Pater omnipotens* ‘Отец всемогущий’, *mores maiorum* ‘обычаи предков’, *familia* ‘семья’ = ‘род’, *gens* ‘род', *persona sui iuris* ‘лицо собственного права’, *persona suae potestatis* ‘лицо, обладающее собственной властью’, *persona alieni iuris* ‘лицо чужого права’, *persona alienae potestatis* ‘подвластное лицо’, *caput*

‘голова’, ‘глава’, *manu* букв. ‘рука’, ‘абсолютная власть отца’, позже ‘власть мужа над своей супругой’, *mancipium* ‘распорядительная власть отца’ (поверхностная этимология: *mancipium quod manu capitur*), *res mancipi* ‘манципируемые вещи’, *pecunia* ‘оборотное имущество’, *manumissio* ‘освобождение из-под власти отца’.

Концептуализированная область ‘persona – театральная маска’: лат. *persona* ‘театральная маска’, *caput* ‘голова’, *personare* ‘громко звучать’, ‘прославлять’, ‘играть’, *personata fabula* ‘звучащая басня’, *fabula atellana* ‘ателланская комедия’, *sonare* ‘звучать’, ‘петь’, ‘играть’, др.-греч. *πρόσωπον* ‘маска’, ‘личина’.

2.2. Условная связь между формой (театральная маска) и содержанием (persona как типизация социальной роли или социального статуса, например раба).

Концептуализированная область ‘persona – театральная маска’: лат. *persona* ‘театральная маска’, caput ‘голова’, *personare* ‘громко звучать’, ‘прославлять’, ‘играть’, *personata fabula* ‘звучащая басня’, *sonare* ‘звучать’, ‘петь’, ‘играть’, др.-греч. *πρόσωπον* ‘маска’, ‘личина’.

Гипотеза об этимологии слова persona.

В результате анализа исторического слоя рассматриваемого концепта выдвинута гипотеза о реконструкции первоначального значения слова persona по двум линиям (в соотвествии с пассивным и активным значениями родственного прилагательного personus): 1) «звучащая/поющая маска»; 2) прославляемая /-ый /-ое N, где N – прославляемый объект: предполагается, что первоначальное значение слово persona могло быть связано как с прославляемыми во время похорон именем рода (см. выше laudatio funebris), с маской предка, так и с самим событием, которое имело характер прославления деяний умершего.

3. Актуальному слою концепта persona соответствует условность связи между его формой (слово «persona») и содержанием (persona ‘лицо’ как субъект права = nomen ‘имя’) как следствие их биологической нерелевантности.

<u>Концептуализированная область persona – субъект права:</u> лат. *persona* ‘субъект права’, ‘лицо’, *caput* ‘правоспособность’, совр. ит. *persona,* совр. исп. *persona*, совр. фр. *personne*, совр. англ. *person*, совр. нем. *person,* совр. рус. *лицо*; тождественные по смыслу устойчивые выражения: *ex persona alicuius agere / facere* ‘действовать от чьего-либо лица’ = *nomine alicuius agere / facere* ‘действовать от чьего-либо имени’.

Таким образом, в результате рассмотрения диахронного среза концепта persona мы можем сделать вывод о преемственности формы предмета или внешней формы слов, которые его обозначают, в процессе его семиотической эволюции, характеризующейся ослаблением признака «репрезентация отсутствующего в качестве присутствующего»:

ОСЛАБЛЕНИЕ ПРИЗНАКА ↓

- лицо как наиболее индивидуализирующая часть человеческого тела замещает самого человека: др. греч. *κεφαλή* ‘голова’ = лат. *caput* ‘голова’; др.-греч. *πρόσωπον* ‘лицевая часть головы’;
- лицо как маска, имитирующая черты лица: лат. *imago* ‘маска предка’ = др.-греч. *πρόσωπον* ‘маска’ = лат. *persona* ‘маска’;
- лицо как репрезентация социальной роли человека – человек в ролевой маске: лат. *persona* ‘театральная маска’ – *persona* ‘социальная роль’, ‘функция’, ‘положение’ (например: *personam magistri sustinere* ‘исполнять роль должностного лица’);
- лицо как репрезентация человека в юридическом дискурсе в качестве «актера» (лат. *persona*), способного исполнять социально-правовые роли (лат. *personae*) по строго определенному и установленному в законе правовому сценарию. Эта способность, в свою очередь, репрезентируется в юридическом дискурсе как способность свободного человека надевать на свою «голову» (*caput*) различные «маски» (лат. *personae*), в то время как он сам представлен в этом дискурсе лишь своим именем (лат. *nomen*).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предпринята попытка исследования индоевропейских механизмов стереотипизации в юридическом дискурсе. На материале латинского, а также древнегреческого, русского и французского языков; древнегерманских и германских языков; языков индоиранской группы, в рамках сравнительно-исторического, когнитивно-семиотического и лингвокультурного подходов, определяются лингвокультурные основания стереотипизации юридического дискурса в индоевропейской культуре; произведена сравнительно-историческая реконструкция диахронной ретроспективы оппозиции *res mobilis vs. res immobilis* с использованием оппозитивного метода; произведена сравнительно-историческая реконструкция лингвокультурных предпосылок реализации концепта persona, в основе которой (реконструкции) лежит понимание концепта как основной ячейки культуры в ментальном мире человека, состоящей из трех слоёв (уровней), связанных между собой историко-генетическим единством и являющихся результатом культурной жизни разных эпох.

В соответствии с поставленной целью и задачами исследование проводилось в три этапа, каждому из которых структурно соответствует глава диссертации.

На первом этапе решались следующие задачи: показать основные черты семиотической эволюции юридического дискурса в индоевропейской культуре; выявить историко-генетические предпосылки языковой стереотипизации юридического дискурса в индоевропейской культуре.

Задача 1. Показать основные черты семиотической эволюции юридического дискурса в индоевропейской культуре.

Юридический дискурс в индоевропейской традиции представляет собой культурно обусловленную метасемиотическую систему (юридический язык), построенную на базе естественного языка (естественный язык является планом

выражения юридических идей и ценностей, некой правовой реальности), эволюция которой характеризуется следующими чертами.

1. Вектор развития юридического дискурса как метасемиотической системы характеризуется постепенным семиотическим ослаблением признаков действия: от биологически релевантных действий, направленных на защиту и упорядочение сообщества (тождество знака и действия), к ритуалам, имитирующим эти действия (наряду с отношениями «тождество знака и действия», в результате ритуализация (имитации) некоторых биологически релевантных актов происходит эволюция в сторону подобия соответствующих знаков), и дальше – к формальным процедурам юридического дискурса, репрезентирующим связь с указанными действиями на понятийном уровне (данная связь между действием и ранее совершаемым актом характеризуется как условная).

2. Семиотическая эволюция концептов правовой культуры, как правило, характеризуется ослаблением интенсивности содержательных признаков на уровне означаемого и преемственностью внешней формы на уровне означающего.

Хотя терминам и понятиям права имманентно свойственна речевая семантика, их значения, будучи даже «жёсткими дефинициями», актуализируются на общем лексическом и культурном фонах, составляя, таким образом, правовые концепты. Понимание юридических терминов, входящих в то или иное высказывание, является обусловленным когнитивными механизмами категоризации и стереотипизации, в основе которых лежит социокультурный опыт субъекта этого высказывания. Поэтому терминам и понятиям права также свойственна и языковая семантика, фиксирующая их существенные признаки, что позволяет исследовать их семиотическую эволюцию как концептов правовой культуры.

Учитывая предыдущие посылки, сделан вывод: динамика и характер развития юридического дискурса как метасемиотической системы обеспечивается знаковыми отношениями между активно изменяющимся планом содержания, состоящим из юридических идей и ценностей, воплощенных в значениях слов, словесных выражений и текстов, и консервативным, фактически не изменяющимся планом

выражения, представленным языковыми средствами объективации юридического дискурса, что соответствует закономерности семиотического ослабления интенсивности признака действия.

Задача 2. Выявить историко-генетические предпосылки языковой стереотипизации юридического дискурса в индоевропейской культуре.

Рассмотрение юридического дискурса как культурно обусловленной метасемиотической системы, построенной на базе естественного языка, которая реализуется в конвенциональных перформативных актах, позволило выявить и показать историко-генетические предпосылки, которые лежат в основе его стереотипизации.

На материале различных индоевропейских языков было показано, что перформативное знание, которое определяет языковую картину правовой реальности, отражает стереотипные представления о правовом порядке, в основе которых лежит феномен концептуальной границы, упорядочивающей человеческое поведение в соответствие с принципом разделения на «своих» и «чужих».

1. В частности, выдвигается и обосновывается предположение о том, что механизм стереотипизации юридического дискурса в индоевропейской традиции действует по следующей схеме.

1.1. Саморепрезентация субъекта в юридическом дискурсе предполагает принятие на себя определённой конвенциональной роли, или лица – заявителя, ответчика, истца, продавца, покупателя, президента, доверителя и т.д., что обусловлено существованием в юридическом дискурсе сценарных нормативных процедур, которые часто носят выраженный ритуальный характер.

1.2. Инсценировка в правовых процедурах и ритуалах объективированных норм и ценностей позволяет постоянно воспроизводить в сообществе соответствующие смыслы, которые, в силу своего надрационального характера, с течением времени начинают восприниматься сообществом как «естественные» и «правильные», как общие для всех чувства.

1.3. Тем самым у сообщества формируется стереотипное восприятие последующих аналогичных ситуаций с точки зрения уже усвоенных символов, концентрирующих эти смыслы.

1.4. Таким образом, создаётся упорядоченное структурированное сообщество законопослушных граждан (не отождествляемое со всем обществом), которые обладают перформативным знанием о возможностях достижения в юридическом дискурсе поставленных целей, а также о границах, которые следует соблюдать при осуществлении социально значимого поведения. Тех, кто своими действиями нарушает такой порядок, данное сообщество осуждает и воспринимает как «преступников», «опасных для общества лиц», «врагов», «чужих», нарушивших границы «мира».

2. По результатам анализа данных латинского, древнегреческого, русского и французского языков; древнегерманских и германских языков; языков индоиранской группы, репрезентирующих представления о праве и о «порядке» в различных культурах и в различных эпохах, в рамках подходов и с помощью методов, содержащихся в работах Э. Бенвениста, Ю.С. Степанова, С.Г. Проскурина, Ю.В. Монича и других исследователей, утверждается, что в основании данных представлений, дифференцирующих человеческое поведение в соответствии с оппозицией «нормальное vs. ненормальное», основанной на семантическом противопоставлении «закон (право) vs. преступление» (ср. «гражданская община vs. преступное сообщество»), лежат механизмы стереотипизации, мотивированные культурными оппозициями «Свои vs. Чужие» и «Космос vs. Хаос», имманентно свойственными индоевропейской культуре. Формирование и концептуализация данных оппозиций соответствует эпохе «предправа», когда действующий инструмент упорядочения социальной действительности – перформатив – реализовывался в ритуалах, репрезентирующих мифопоэтическую космологическую картину мира.

В основании данных выводов лежат, главным образом, две идеи.

2.1. Концептуальным основанием семантической структуры юридического дискурса в диахронной перспективе является идея границы (далее – феномен

концептуальной границы), которая имеет психофизиологический базис, определяющий стереотипизацию человеческого поведения, и проявляется на лингвокультурном уровне как система оппозиций, отделяющая «Своих» от «Чужих», «Космос» («Мир») от «Хаоса» и, соответственно, «Нормальное» от «Ненормального», «Законное» от «Преступного» (далее – базовые оппозиции правовой культуры), детерминирующих, в свою очередь, появление и проявление иных семантических оппозиций, упорядочивающих пространство юридического дискурса; разделение в массовом сознании на «Своих» и «Чужих» – это, по сути, исходная точка стереотипизации и ритуализации социального поведения.

2.2. Представления, лежащие в основе базовых оппозиций правовой культуры, концептуализируются в индоевропейской идее «порядка» («предправа», которое, как было показано Э. Бенвенистом, соответствует «общеиндоевропейскому состоянию», реконструируемому на основании терминов, восходящих к и.-е. корню ***ar/r*: скр. *ṛta-*, ир. *arta*, лат. *ars*, *artus*, *ritus*, рус. *ряд* и др.), поддерживаемого космологическими ритуалами (в терминах дискурсивного анализа – дискурсивными практиками), в которых в форме языковых и предметных символов объективируются соответствующие идеи, нормы и ценности. При этом выделяются центральные (базовые) символы (например, Конституция или Основной закон государства), репрезентирующие представления об идеальном «порядке», и соответствующее им ценностное ядро «порядка», которое в результате постоянного инсценирования и воспроизводства в официальных ритуалах мифологизируются и наделяются сакральным смыслом, что обеспечивает легитимность и непрерывность функционирования соответствующих правовых институтов и структур власти.

На втором этапе решалась следующая задача.

Задача 3. Определить историко-генетические причины асимметрии в семантической оппозиции res mobilis vs. res immobilis в юридическом дискурсе латинского языка; выявить специфику проявления асимметрии в семантической оппозиции «движимое имущество vs. недвижимое имущество» в современных русском, французском, немецком и английском языках.

В ходе проведённого исследования была показана важность и значимость использования оппозитивного метода при изучении семантики базовых терминов права в перспективе лингвокультурного подхода. В результате историко-генетического кросскультурного анализа семантической оппозиции *res mobilis vs. res immobilis* удалось определить лингвокультурные мотивы её асимметрии, определяющей в древнеримском юридическом дискурсе категоризацию объектов на основании семантического дифференциального признака «возможность перемещения имущества».

В результате проведённого исследования на материале латинского, древнегреческого, древнегерманских языков; языков индоиранской группы показано, что представления, лежащие в основе древнеримской оппозиции *res mobilis vs. res immobilis,* восходят к представлениям древних индоевропейцев о богатстве и (или) личном имуществе, которые первоначально репрезентировались в языке в форме биномов, одним из членов которых была лексема, обозначавшая «скот» как наиболее ценный, распространённый, а потому наиболее репрезентативный пример данной категории.

1. Биномы-внешние синтагмы, представленные в и.-е. **uiro-peku-*, авест. *pasu vira*, умбр. *uiro pequo*, гот. **faihu-iggws*, в специальном значении – ‘люди-скот’, в общем значении – ‘богатство’. В древнеримской культуре указанные отношения концептуализировались в плане содержания ‘*pecunia’* (деривата от *и.-е. *peku*).

2. Биномы, связанные одновременно синтагматическими и парадигматическими отношениями, представленные в др.-хетт. *iyata dometa,* др.-греч. *κειμήλιά τε πρόβασίν τε,* англ. *good(e)s and cattel(s*). В древнеримской культуре указанные отношения концептуализировались в плане содержания оппозиции *res mobilis vs. res moventes*. Существование парадигматических отношений в представленных биномах позволяет характеризовать их как асимметричные семантические оппозиции, фоном которых является базовая категория «скот».

Другой вид оппозиции характеризуется симметрией входящих в неё членов: личное имущество здесь не дифференцируется, а противопоставляется в целом

родовому или фамильному имуществу (лат. *familia vs. pecunia*, др.-герм. **fehu vs.***o*þ*al*) в семантической оппозиции «имущество семьи, наследство (наиболее репрезентативный объект – «земля», «земельное владение») vs. оборотное имущество (наиболее репрезентативный объект – «скот»)». При этом на языковом материале источников римского права (Законов XII таблиц, Дигест Юстиниана и Институций Гая) показано, что *pecunia* является как бы потенциальной стоимостной характеристикой *famila* (равно как и **fehu* для **o*þ*al* в древнегерманской культуре). В связи с развитием социально-экономических отношений, сопровождавшихся утратой значимости родового владения, в плане содержания указанных оппозиций усиливались синтагматические отношения, что привело к появлению в плане выражения новых форм – вульгарной латинской формы *feodum/feudum (*fehu +**o*þ*al*), синонимичной англ. *fee*; в латинском языке распространяется общий родовой термин *res* ‘вещь, имущество’, равно применимый как к движимому (res mobilis), так и к недвижимому имуществу (res immobilis).

На основе проанализированного материала делается вывод о том, что синтагматические отношения *res* + *mobilis* являются не случайными, но мотивированными архисемой ‘оборотное имущество’ лат. *pecunia*. В связи с изменившимся экономическим укладом древнеримского общества указанный компонент значения pecunia также распространился на второй член семантической оппозиции *res mobilis vs. res immobilis – «res immobilis»*, что дополнительно свидетельствует о его семантической маркированности в данной оппозиции. Предполагается, что в основе семантической оппозиции *res mobilis vs. res immobilis* первоначально лежал дифференциальный семантический признак «возможность перемещения вещи при её передаче участнику сделки».

На третьем этапе решалась следующая задача.

Задача 4. Определить историко-генетические мотивы появления и развития концепта persona в латинском языке и древнеримской культуре.

В ходе проведённого исследования историко-генетических предпосылок реализации древнеримского концепта persona в юридическом дискурсе была

показана важность и значимость применения лингвокультурного подхода к изучению базовых терминов права в диахронном срезе, наряду с классическим сравнительно-историческим подходом и семиотическими методами исследования.

В результате исследования историко-генетических предпосылок появления и развития концепта persona в латинском языке и древнеримской культуре на фоне главным образом древнегреческой и этрусской культур, выявлены структурные и смысловые связи, позволившие представить концепт как трёхуровневую перспективу концептуализированных областей, соответствующих культурной жизни разных эпох. Каждая из трёх концептуализированных областей состоит из элементов вербальной и материальной культуры, которые характеризуются определённым уровнем знаковых отношений.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алимушкина О.А. Механизмы проявления стереотипизации в ассоциативном поле [Текст]: автореф. …канд. филол. наук / О.А. Алимушкина. – Барнаул, 2007. − 19 с.
2. Андреев М. Недвижимая собственность в Риме до Двенадцати таблиц [Текст] / М. Андреев // Вестник Древней Истории – 1955. − № 1. − С. 142 − 146.
3. Апресян Ю.Д. Избранные труды: в 2 т. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография [Текст] / Ю.Д. Апресян – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Восточная литература, 1995. – Т. II – 767 с.
4. Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. Перевод с чешск. [Текст] / М. Бартошек – М.: Юридическая литература, 1989. – 448 с.
5. Бенвенист Э. Общая лингвистика [Текст] / Э. Бенвенист. – М.: Прогресс, 1974. – 448 с.
6. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов [Текст] / Э. Бенвенист. – М.: Прогресс-Универс, 1995. – 452 с.
7. Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии [Текст] / Г.Дж. Берман. – М.: Ad Marginem, 1999. – 432 с.
8. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни [Текст] / Н.П. Бехтерева. − Доп. изд. − М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008. − 383 с.
9. Бурлак С.А. Сравнительно−историческое языкознание: учеб. для студентов вузов [Текст] / С.А. Бурлак, С.А. Старостин. − М.: Академия, 2005. − 430 с.
10. Вайсгербер Й.Л. Язык и философия [Текст] / Й.Л. Вайсгербер // Вопросы языкознания. – 1993. − №2. − С. 26 – 31.
11. Варела Ф. Древо познания [Текст] / Ф. Варела, У. Матурана. – М.: Прогресс−Традиция, 2001. – 224с.
12. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежбицкая. − М.: Русские словари, 1996. − 416 с.

13. Виноградов П.Н. Понятие недвижимого имущества: исторический очерк и современное состояние [Текст] / П.Н. Виноградов // Законодательство. − 2008. − № 8. − С. 11 – 22.
14. Вульф К. Антропология: история, культура, философия: пер. с нем. [Текст] / К. Вульф, послесл. Г. Хайдаровой. − СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. − 278 с.
15. Вульф К. К генезису социального. Мимезис, перформативность, ритуал [Текст] / К. Вульф.− Санкт-Петербург: Интерсоцис , 2009. − 164 с.
16. Гамкрелидзе Т.Д. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры в 2 т. [Текст] / Т.Д. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского Университета, 1984. – 428+1328 с.
17. Гончарова Е.А. Интерпретация текста. Немецкий язык [Текст] / Е.А. Гончарова, И.П. Шишкина. – М.: Высшая школа, 2005. – 368 с.
18. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I // Российская газета. – 8 декабря 1994 г. – N 238 – 239.
19. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II. // Российская газета. – 6, 7, 8 февраля 1996 г. – N 23, 24, 25.
20. Гражданское и торговое право зарубежных государств [Текст]: учебник: в 2 т. / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4-е изд. – М.: Международные отношения, 2006. – Т.1. – 560 с.
21. Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества [Текст] / С.П. Гришаев. – М.: Новая правовая культура, 2007. – 382 с.
22. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры [Текст] / А.Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1972. – 318 с.
23. Гуревич А.Я. Начало феодализма в Европе [Текст]: избранные труды: в 2 т. / А.Я. Гуревич. – М.-СПб.: Университетская книга, 1999. – Т.1. – 342 с.

24. Данези М. В поиске значения. Введение в семиотическую теорию и практику [Текст]: перевод с английского/ М. Данези. – Новосибирск: НГУ, 2010. – 192 с.
25. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь в 2 т. [Текст] / И.Х. Дворецкий. – М: ГИС, 1958. − 1904 с.
26. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь [Текст] / И.Х. Дворецкий. – 5-е издание, стер. – М.: Рус. Яз., 1998. – 845с.
27. Дементьева В.В. Римское «божественное право»: проблема содержания понятия fas [Текст] / отв. ред. В.В. Дементьева // Tabularium. Труды по антиковедению и медиевистике.– 2003. – Т. 1. – С. 8 – 17.
28. Дератани Н.Ф. Римская литература: хрестоматия по античной литературе: в 2 томах [Текст] / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – М.: Просвещение, 1965. – 679 с.
29. Дождев Д.В. Римское частное право [Текст] / Д.В. Дождев. – М.: НОРМА, 2000. – 784 с.
30. Дубровская Т.В. Речь русских и английских судей как средство организации судебной драмы [Текст] / Т.В. Дубровская // Гуманитарные исследования. Журнал фундаментальных и прикладных исследований. – 2010. − №1 (33). – С. 36 – 43.
31. Дыдынский Ф.М. Гай. Институции [Текст]: перевод с латинского / ред. Л.Л. Кофанов, В.А. Савельев. – М.: Юристъ, 1997. – 368 с.
32. Дятлева Г.В. Популярная история театра [Текст] / Г.В. Дятлева, Г.А. Гальперина, Л.Н. Смирнова. – М.: Мульти Медиа, 2008. – 1522 с.
33. Иванов В.В. Хеттский язык [Текст] / В.В. Иванов. – 2-е изд., испр. и дополн. − М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 296 с.
34. Иеринг Р. Юридическая техника [Текст] / Р. Иеринг; перевод с немецкого Ф.С. Шендорфа. – Спб., 1905. − 105 с.
35. Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий [Текст] / М.В. Ильин. – М.: РОСПЭН, 1997. – 431 с.

36. Ирмшер Й. Словарь античности [Текст] / сост. Йоханнес Ирмшер, Ренате Йоне, пер. с нем. В. Горбушин и др. − М.: Прогресс, 1989. − 704 с.
37. Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов: от договоров с Византией до уставных грамот Московского государства: словарь [Текст] / М.А. Исаев. – М.: Спарк, 2001. – 118 с.
38. Карабыков А.В. Метафизика языка в культурах древности: Египет, Израиль, Рим [Текст] / А.В. Карабыков. − Омск: ОмЮИ, 2011. − 199 с.
39. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст] / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2004. – 390 с.
40. Карасик В.И. Языковая матрица культуры [Текст] / В.И. Карасик. – М.: Гнозис, 2013. – 320 с.
41. Кириллов В.И. Логика: учебник [Текст] / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – 6-е изд., перераб. и доп. − М.: Проспект , 2008. − 233 с.
42. Конвенция ООН «О праве международных договоров» (Вена, 23 мая 1969 г.) // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. – 1999. – N 3.
43. Кожемякин Е.А. Юридический дискурс как культурный феномен: структура и смыслообразование [Текст] / Е.А. Кожемякин // Юрислингвистика-11: Право как дискурс, текст и слово: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и К.И. Бринева. − Кемерово, 2011. − С. 131 – 144
44. Коптев А.В. Империй и померий в эпоху ранней римской республики [Текст] / А.В. Коптев // Вестник РГГУ. – 2011. – № 14(76). – С. 42 – 104.
45. Кофанов Л.Л. Жреческие коллегии в Раннем Риме = Collegia sacerdotum Romae Primordialis: К вопросу о становлении рим. сакр. и публ. права [Текст] / Л.Л. Кофанов.− М.: Наука , 2001. − 326 с.
46. Кофанов Л.Л. Дигесты Юстиниана: сборник: в 8 т. [Текст] / пер. с лат, отв. ред. Л.Л. Кофанов. – М.: Статут, 2005. − Т. VII. – Полутом 2. – 564 с.

47. Кофанов Л.Л. Государственные контракты в римском республиканском публичном праве [Текст] / Л.Л. Кофанов // Ius Antiquum − Древнее Право. – 2006 (1). – № 18. – С.44 – 72

48. Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII − III вв. до н.э. [Текст] / Л. Л. Кофанов. – М.: Статут, 2006 (2). − 575 с.

49. Кофанов Л. Л. Persona и persona publica в республиканском Риме [Текст] // Древнее право. Ivs antiqvvm. – 2010. – № 1 (25) – С. 27 – 50.

50. Краснокутский В.А. Римское частное право: учебник [Текст]/ В.А. Краснокутский, И.С. Перетерский, Е.А. Флейшиц. – М.: Юристъ, 1999. – 543 с.

51. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) [Текст] / Е.С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века. – М.: Рос. Гуманит. Ун-т., 1995. – С. 144 – 238

52. Кэмпбелл Д.Т. Социальные диспозиции индивида и их групповая функциональность: эволюционный аспект [Текст] / Д.Т. Кэмпбелл // Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М.: Наука, 1979. – С. 76 – 102.

53. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении [Текст] / Дж. Лакофф. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 792 с.

54. Леонтьев А.А. Национально-культурная специфика речевого поведения [Текст] / под ред. А.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова. – М.: Наука, 1977. – 352 с.

55. Липпман У. Общественное мнение [Текст] / У. Липпман. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.

56. Мабиногион: легенды средневекового Уэльса [Текст] / Перевод с валлийс. В. Эрлихмана. − М.: Аграф, 2002. − 408 с.

57. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник [Текст] / М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2005. – 551 с.

58. Маслова В.А. Лингвокультурология [Текст] / В.А. Маслова. − М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
59. Медникова М.Б. Обращение с головой умершего: погребальная практика древности по данным палеоантропологии [Текст] / М.Б. Медникова // Краткие сообщения института антропологии РАН. – 2010. − Вып. 224. – С. 98 – 106.
60. Мерзлякова А.Х. Лингокультурный анализ языковых картин мира: динамика и сопоставление [Текст]: монография / А.Х. Мерзлякова. – Ижевск: Удмуртский госуниверситет, 2011. – 366 с.
61. Монич Ю.В. Амбивалентные функции ритуала в эволюции языковых систем [Текст] / Ю.В. Монич // Вопросы языкознания. – 2000. − № 6. – С. 69 – 97.
62. Монич Ю.В. На стыке ритуала и языка: комплексная мотивация в семантической эволюции [Текст] / Ю.В. Монич // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / отв. ред. Е.С. Кубрякова, Т.Е. Янко. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – С. 191 – 206.
63. Монич Ю.В. Прототипическая семантика в праиндоевропейских реконструкциях: Энантиосемия. Синонимия. Омонимия [Текст]: автореф. …канд. филол. наук / Ю.В. Монич. − Москва, 1999. − 23 с.
64. Мосс М. Об одной категории человеческого духа: понятие личности, понятие «Я» [Текст] / М. Мосс // Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии. − М.: Вост. лит., 1996. − 360 с.
65. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов [Текст] / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма-Инфра-М, 1999. – 552 с.
66. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: учебник [Текст] / И.Б. Новицкий. − М.: Госюриздат, 1956. − 231 с.
67. Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922. – М.: ИКД Зерцало-М, 2002. – 222 с.

68. Общество сетевых структур [Текст] / под редакцией М.В. Рома, И.А. Вальдамана. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. − 327с.
69. Онианс Р. На коленях богов [Текст] / Р. Онианс. − М.: Прогресс-традиция, 1999. −231 с.
70. Остин Дж. Избранное [Текст] / Дж. Остин. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 332 с.
71. Остин Дж. Перформативные высказывания [Текст] / Дж. Остин // Три способа пролить чернила. – СПб.: Алетейя, Изд. дом СПбГУ, 2006. – С. 262 – 281.
72. Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана [Текст]: учебное пособие / отв. ред. Е.А. Скрипилева. – М.: Зерцало, 1997. – 608 с.
73. Пежемский Д.В. Возникновение идеи пластического воспроизведения лица на черепе [Текст] / Д.В. Пежемский // Вестник антропологии. – 1999. – Вып.6. – С. 151–163.
74. Пиголкин А.С. Правоприменение в советском государстве [Текст] / А.С. Пиголкин; отв. ред. И.Н. Кузнецов, И.С. Самощенко − М.: Юрид. лит., 1985. − 303 с.
75. Плюснин Ю.М. Поведение животных и человека: сходство и различия / Ю.М. Плюснин // Генетически и культурно обусловленные стереотипы поведения. – Пущино, 1989. – С. 89 – 106.
76. Покровский И.А. История римского права [Текст] / И.А. Покровский. – СПб: Издательско-торговый дом «Летний сад», 1999. – 560 с.
77. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О правилах дорожного движения» // Российские вести. – 1993. – 23 нояб. − N 227.
78. Проскурин С.Г. Семиотика индоевропейской культуры [Текст] / С.Г. Проскурин. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 234 с.
79. Проскурин С.Г. Древнеанглийская пространственная лексика концептуализированных областей [Текст]: автореф. … канд. филол. наук / С.Г. Проскурин. − М., 1990. − 25 с.

80. Проскурин С.Г. Индоевропейские ритуалы и право. К вопросу о сетевом характере международного права [Текст] / С.Г. Проскурин // Критика и семиотика. – 2009. – № 13. – С. 102 – 111.

81. Проскурин С.Г. Эволюция права в свете семиотики [Текст] / С.Г. Проскурин // Вопросы филологии. – 2010. – № 3 (36). – С. 106 – 111.

82. Проскурин С.Г. К вопросу о тематической сети языка и культуры. Древние перформативы, космос и римское право [Текст] / С.Г. Проскурин // Критика и семиотика. – 2011. – Вып. 15. – С. 24 – 30.

83. Радченко О.А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства [Текст] / О.А. Радченко. − М.: Едиториал УРСС , 2005. – 312 с.

84. Ромашко С.А. Стереотип: к языковой и культурной археологии слова и понятия [Текст] / С.А. Ромашко // Стереотипы в языке, коммуникации и культуре: Сб. статей / сост. и отв. ред. Л.Л. Федорова. – М.: РГГУ, 2009. − С. 215 – 227.

85. Рулан Н. Юридическая антропология [Текст] / Н. Рулан. – М.: Издательство НОРМА, 2000. − 310 с.

86. Рыбаков Б.А. Рождение Руси [Текст] / Б.А. Рыбаков. – М.: АиФ Принт, 2003. – 447 с.

87. Садиков В.Н. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / сост. В.Н. Садиков. – 2-е изд., перераб. и доп.− М.: Проспект, 2005. − 767 с.

88. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов [Текст] / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике: Теория речевых актов. – 1986. − Вып. 17. – С. 170 – 194.

89. Сёрль Дж. Р. Что такое речевой акт? [Текст] / Дж. Р. Сёрль // Новое в зарубежной лингвистике. – 1986. – Вып. 17.– С. 151 – 169

90. Синайский В.И. Русское гражданское право [Текст] / В.И. Синайский; ред. кол.: А.Г. Долгов, В.С. Ем. – М.: Статут, 2002. – 638 с.

91. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве [Текст]: учеб.-практ. пособие / К.И. Скловский. – М.: Дело, 2000. – 512 с.

92. Смирин В.М. Римская familia и представление римлян о собственности [Текст] / В.М. Смирин // Быт и история в античности: сб. статей. – М.: Наука, 1988. − С. 18 – 40.

93. Сморчков А.М. Сакрально-правовые термины legum dictio / divinatio и авгурская практика [Текст] / А.М. Сморчков // Studia historica. X. M. – 2010. – С. 66 – 77.

94. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики [Текст] / Ф. де Соссюр; под общ. ред. М.Э. Рут. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 432 с.

95. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства [Текст] / Ю.С. Степанов. − М.: Наука, 1985. − 336 с.

96. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика) [Текст] / Ю.С. Степанов. − М.: Наука, 1981. − 360 с.

97. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры [Текст] / Ю.С. Степанов. – 3-е изд. − М.: Академический проект, 2004. – 990 с.

98. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики [Текст] / Ю.С. Степанов. − Изд. 7-е. – М.: URSS, 2009. − 312 с.

99. Степанов Ю.С. Номинация, семантика, семиология [Текст] / Ю.С. Степанов // Языковая номинация: Общие вопросы. − М.: Наука, 1977. − С. 294 – 358.

100. Степанов Ю.С. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия [Текст] / Ю.С. Степанов, С.Г. Проскурин. – М.: Наука, 1993. – 158 с.

101. Степанов Ю.С. Семиотика концептов [Текст] / Ю.С. Степанов // Семиотика: Антология. − М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. − С. 603 – 612.

102. Степанов Ю.С. Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках [Текст] / Ю.С. Степанов // Вопросы языкознания. – 1989. − № 4. – С. 46 – 72.

103. Стратановский Г.А. Фукидид и его «История» [Текст] / Г.А. Стратановский // Фукидид. История. − М.: Ладомир – Наука, 1993. − 543 с.

104. Судаков К.В. Динамические стереотипы, или Информационные отпечатки действительности [Текст] / К.В. Судаков. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 128 с.

105. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика [Текст] / И.П. Сусов. − М: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 200 с.

106. Тайлор Э.Б. Первобытная культура [Текст] / Э.Б. Тайлор. − М.: Политиздат, 1989. − 573 с.

107. Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа [Текст] / З.К. Тарланов. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1995. − 189 с.

108. Топоров В.Н. Модель мира (мифопоэтическая) [Текст] / В.Н. Топоров // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. − М.: Советская энциклопедия, 1980. − Т. 2. − С.161 – 166.

109. Третьякова Т.П. Функциональная семантика и проблема речевого стереотипа [Текст]: автореф. …докт. филол. наук / Т.П. Третьякова. − Спб., 1998. − 37 с.

110. Трубецкой Н.С. Основы фонологии [Текст] / Н.С. Трубецкой; пер. с нем. А.А. Холодовича; под ред. С.Д. Кацнельсона; послесл. А.А. Реформатского. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – 372 с.

111. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла (VIII – V вв. до н.э.). [Текст] / Х. Туманс. − Спб.: Гуманитарная Академия, 2002.− 543 с.

112. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 22 дек. – N 249.

113. Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику [Текст] / Е.В. Федорова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 256 с.

114. Фуко М. Археология знания. [Текст] / М. Фуко; пер. с фр. С. Митина, Д. Стасова; общ. ред. Бр. Левченко. – К.: Ника-Центр, 1996. – 208 с.

115. Фуко М. Порядок дискурса / М. Фуко // Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности: работы разных лет / сост., пер. с фр., коммент. и послесл. С. Табачниковой. − М.: МАГИСТЕРИУМ, 1996. – С. 59.

116. Хомич А.В. Психология девиантного поведения: учебное пособие [Текст] / А.В. Хомич. – Ростов-на-Дону, 2006. – 140 с.

117. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2 т. [Текст] / П.Я. Черных. – М.: Русский язык, 1993. − Т. I. − 622 с.

118. Чистяков О.И. Российское законодательство X—XX веков [Текст]: в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / О.И. Чистяков. – М.: Юридическая литература,1986. – 512 с.

119. Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости [Текст] / В.В. Чубаров. – М.: Статут, 2006. − 333 с.

120. Шмитт К. Номос Земли в праве народов Jus publicum Europaeum [Текст] / Карл Шмитт; под ред. Д. Кузницына; пер. с нем. К. Лощевского, Ю. Коринца.− Спб.: Владимир Даль, 2008. – 669 с.

121. Шрадер О. Индоевропейцы [Текст] / О. Шрадер. − М.: Едиториал УРСС, 2010. − 216 с.

122. Щекотихина И. Стереотип: аспекты и перспективы исследования [Текст] / И. Щекотихина // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2008. – № 5 (19). – С. 69 – 80.

123. Элиаде М. История веры и религиозных идей в 3 т. От Гаутамы Будды до триумфа христианства [Текст] / М. Элиаде; пер. Н.Н. Кулаковой и др. − СПб.: Критерион, 2002. – Т. 2. − 504 с.

124. Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения [Текст] / М. Элиаде. – М.: Ладомир, 1999. – 488 с.

125. Якобсон Р.О. К учению о падеже [Текст] / Р.О. Якобсон // Избранные работы: пер. с англ., нем., фр. яз. / сост. и общ. ред. В.А. Звегинцева. – М.: Прогресс,1985. – С. 133 – 175.

126. Якобсон Р.О. О структуре русского глагола [Текст] / Р.О. Якобсон // Избранные работы: пер. с англ., нем., фр. яз. / сост. и общ. ред. В.А. Звегинцева. – М.: Прогресс, 1985. – С. 210 – 221.

127. Якубинский Л.П. Избранные работы. Язык и его функционирование [Текст] / Л.П. Якубинский. – М: Наука, 1986. – 206 с.

128. Battistella E. Markedness: The evaluative superstructure of language [Text] / E. Batistella. – N.Y.: State University of New York Press,1990. – 265 p.

129. Blumenstok A.H. Entstehung des deutschen Immobiliareigenthums [Text] / Albert Halban Blumenstok. – Bd. I. − Innsbruck, 1894. – 384 p.

130. Cunningham D. Outline of an education semiotic [Text] / D. Cunningham // The American Journal of Semiotics. − 1987. − Vol 5. − № 2. – P. 201 – 216.

131. Picoche J. Dictionnaire etymologique du Francais [Text] / J. Picoche. – Paris: Le Robert, 2009. – 849 p.

132. Evangelisti E. Una congruenza lessicale latino−indiana (a proposito del mundus sotteraneo) [Text] / E. Evangelisti // Studi linguistici in onore di Vittore Pisani. – Paideia: Brescia, 1969. – Vol. 2 – P. 347 – 366.

133. Glare P.G.W. Oxford Latin Dictionary [Text] / P.G.W. Glare. – Oxford: Oxford press, 1968.− 2150 p.

134. Jannot Jean-René. Phersu Phersuna, Persona. À propos du masque étrusque. [Text] / Jean-René Jannot // Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique /Actes de la table ronde de Rome (3-4 mai 1991). – Rome: École Française de Rome, 1993. – P. 281 – 320.

135. Levi-Strauss C. L'Homme nu. [Text] / C. Levi-Strauss. − Paris: Plon, 1971. − 688 p.

136. Lyons John Semantics in 2 v. [Text]/ John Lyons. – Cambridge: Cambridge University Press, 1977. – Vol. 1.− 388 p.

137. Meillet A. Le dieu indo-iranien Mitra [Text] / A. Meillet //Journal Asiatique. – 2-e Serie. – Paris: Impr. nationale, 1907. – P. 143 – 159.

138. Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch [Text] / J. Pokorny. – Bern: A. Francke, 1959. – 1183 p.

139. Proskurin S.G. Essays in Contemporary Semiotics [Text] / S.G. Proskurin. – Novosibirsk: NSU, 2010. – 144 p.

140. Sacchi. O. Phersu/Persona. Contributo per un'etimologia di prosopon [Text] / O. Sacchi // Древнее право. Ivsantiqvvm. – 2008. − № 2 (22). − С. 25 – 40.

141. Salerno F. Dalla «Consecratio» alla «Publicatio bonorum». Forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare [Text] / Francesco Salerno. – Napoli: Jovene, 1990. − 248 p.

142. Trier. J. First: Ueber die Stellung des Zauns im Denken der Vorzeit [Text] / J. Trier. − Bd. 3 – Goettingen: Nachr. Akad Wiss. Goettingen. Philol.-hist. Kl. N. F., 1941.

143. Watkins C. How to kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetic [Text] / C. Watkins. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 630 p.

144. Woodward, Kathryn Identity and Difference [Text] / Ed. K. Woodward. – London: Sage / Open University, 1997. – 363 p.

Список электронных ресурсов

1. Арутюнова Н.Д. Перформатив [Электронный ресурс] / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. − 1990. – Режим доступа: http://tapemark.narod.ru/les/372c.html.
2. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/93702/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB.
3. Британова Н.Н. Римский скульптурный портрет [Электронный ресурс] / Н.Н. Британова, Н.М. Лосева, Н.А. Сидорова. – М.: Искусство, 1975. – Режим доступа: http://ancientrome.ru/publik/art/rsp/index.htm.
4. Вересаев В.В. Гомер. Илиада: Перевод с древнегреческого [Электронный ресурс] / В.В. Вересаев. – М.-Л., 1949. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gomer/text_0040.shtml.
5. Даниленко В.П. Языковая картина мира в концепции Л. Вайсгербера [Электронный ресурс] / В.П. Даниленко. – Режим доступа: http://old.islu.ru/danilenko/articles/vaiskart.htm.
6. Илиада [Электронный ресурс] / перевод Н.И. Гнедич. − 1829. – Режим доступа: http://ru.wikisource.org/wiki/Илиада_(Гомер/Гнедич).
7. Братухин А.Ю. Античная мифология в историческом контексте [Электронный ресурс] / А.В. Колобов, В.Р. Гущин, А.Ю. Братухин. – 2002. − Режим доступа: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1337305930.
8. Кофанов Л.Л. «Понятия lex и ius в римском архаическом праве» [Электронный ресурс] / Л.Л. Кофанов // Древнее право. – 2003. − № 11. – режим доступа: http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Kofanov−lex−ius−nel−diritto−romano.htm#_ftn1.
9. Манифест Николая II от 27 января 1904 года о начале войны с Японией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusbiography.ru/DocPage/?IdDocs=1166.
10. Присяга Президента России. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://state.kremlin.ru.

11. Присяга Президента Соединённых Штатов Америки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.presidentsusa.net/oathofoffice.html.
12. Свод Законовъ Россійской Империи [Электронный ресурс]. – СПб., 1912. – Том X. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/code/.
13. Степанов Ю.С. Семиотика [Текст] / Ю.С. Степанов. − М.: Наука, 1971. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.vvsu.ru/ books/semiotika1/ page0008.asp.
14. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 637 «О первом заместителе Председателя Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/05/22/shuvalov−dok.html
15. Фэнк-Оцлон Гертруда. Осведомлённость, поток информации и лингвистическая форма [Электронный ресурс] / Фэнк-Оцлон Гертруда // Лекции по когнитивным наукам / под редакцией В.Д. Соловьёва. – 2002. – № 7. – Режим доступа: http://old.kpfu.ru/ss/cogsci04/education/fenk.php3.
16. Шуйский П.А. Гомер. Одиссея: Перевод с древнегреческого. [Электронный ресурс]. − Свердловск, 1948. − Режим доступа: http://omhpos.narod.ru/22_pesnya.
17. Beowulf [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www8. georgetown. edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/texts/a4.1. html
18. Bosworth, J. An Anglo-Saxon Dictionary [Electronic resource] / J. Bosworth, T.N. Toller. – Oxford, 1898. − Режим доступа: http://lexicon.ff.cuni.cz/html/oe_bosworthtoller/ b0515.html.
19. Chandler D. Semiotics for beginners [Electronic resource] / D. Chandler – 1994. – Режим доступа: http://users.aber.ac.uk/dgc/Documents/S4B/sem0a.html.
20. Code civil [Electronic resource]. − Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C71A69BA7F795584 1B4B7E9B586592E9.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&date Texte=20130831.

21. Constitution de la République française [Electronic resource] − 1958. – Режим доступа: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
22. Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp.
23. DIGESTA [Electronic resource]. − Режим доступа: http://www.thelatinlibrary.com/justinian.html.
24. Etymological Dictionary [Electronic resource]. − Режим доступа: http://www.etymonline.com/index.php.
25. GAI INSTITVTIONVM − GAI INSTITVTIONVM [Electronic resource]. − Режим доступа: http://www.thelatinlibrary.com/gaius1.html.
26. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Electronic resource]. − Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
27. Hicks R.D. Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers. [Electronic resource] / R.D. Hicks − Cambridge. 1972. − Режим доступа: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0257%3Abook%3D4%3Achapter%3D7#note1
28. Jahn J.C. Publi Vergilii Maronis Opera omnia. [Electronic resource] / J.C. Jahn. − Leipzig, 1852. − Режим доступа: http://books.google.ru/books?id=Wa1AAAAAYAAJ&pg=PA85&hl=ru&source=gbs_ toc_r&cad= 4#v=onepage&q&f=false
29. Leges XII tabularum. Библиотека источников римского права от А.В. Коптева. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http: // ancientrome. ru /ius/library/twelve/twelve.html.
30. Ordonnance nº 2009 −1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d'enregistrement des professions de santé [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/affichOrdonnance.do?type=general&idDocument=JORFDOLE000021901765.

31. The Bürgerliches Gesetzbuch [Electronic resource]. − Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__93.html.
32. Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana", di Ottorino Pianigiani: [Electronic resource]. – 1907. – 2 V. − Режим доступа: http://www.etimo.it/.
33. Βιβλίο: Homère-Odyssée, I-IV, traduction Sommer, juxta [Electronic resource]. – 1886. − Режим доступа: http://el.wikisource.org/wiki/Οδύσσεια/κ.
34. Πάλλης 1904 – Πάλλης Αλέξανδρος, Η. Ιλιάδα. Αθήνα [Electronic resource]. – 1936. – Режим доступа: http://el.wikisource.org/wiki/Ιλιάς/Φ.
35. U.S. Constitution [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www.usconstitution.net/xconst.html.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЯЗЫКОВ

авест. – авестийский	и.-е. − индоевропейский
англ. − английский	исп. – испанский
англ.-сакс. − англосаксонский	ит. − итальянский
вед. − ведийский	лат. − латинский
герм. − германский	нем. − немецкий
гот. − готский	прагерм. − прагерманский
греч. − греческий	рус. − русский
д.-в.-нем. − древневерхнемецкий	скр. − санскрит
др.-англ. − древнеанглийский	сл. − славянский
др.-греч. − древнегреческий	совр. англ. – современный английский
др.-герм. − древнегерманский	совр. нем. – современный немецкий
др.-исл. − древнеисландский	совр. фр. – современный французский
др.-инд. − древнеиндийский	ст-лат. − старолатинский
др.-нем. − древненемецкий	ст.-фр. − старофранцузский
др.-рус. – древнерусский	фр. − французский
др.-сев − северногерманский	франк. – франкский
др.-сканд. − древнескандинавский	этрус. – этрусский
др.-хетт. – древнехеттский	

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фрески из этрусских гробниц (гробницы Авгуров, Пульчинеллы, Олимпиады, Галлы, Обезъяны)[1]

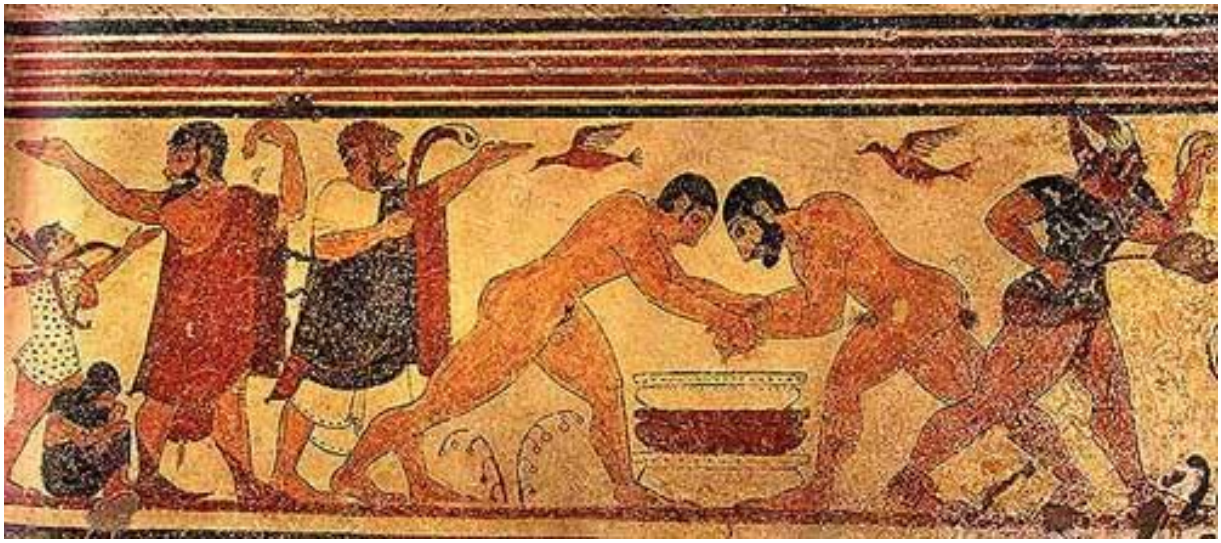


Рисунок 1. Роспись правой стены гробницы Авгуров в Тарквинии (530 г. до н.э.)

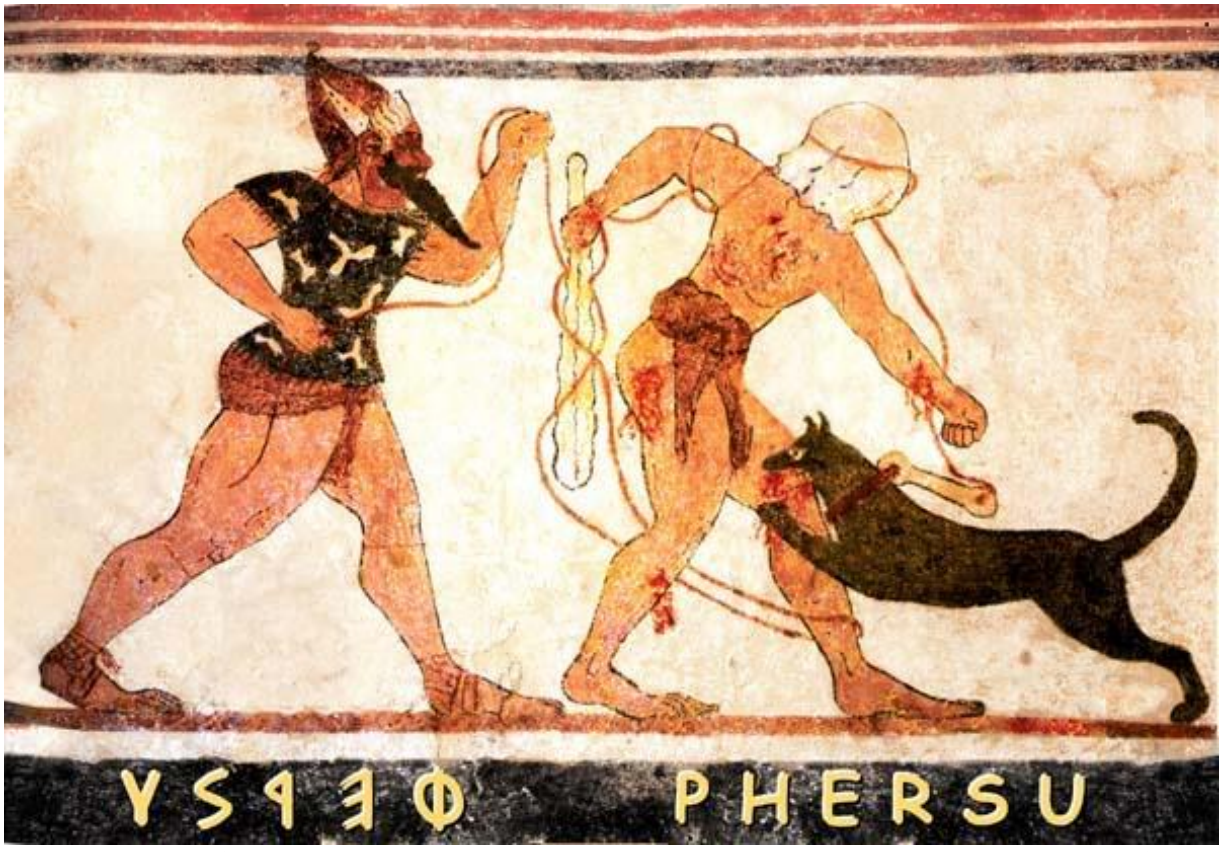


Рисунок 2. Изображение одной из сцен, запечатлённых на правой стене гробницы Авгуров в Тарквинии (ок. 530 г. до н.э.)

[1] Материалы и сведения взяты из источника: http://www.antika.it/008827_phersu.html

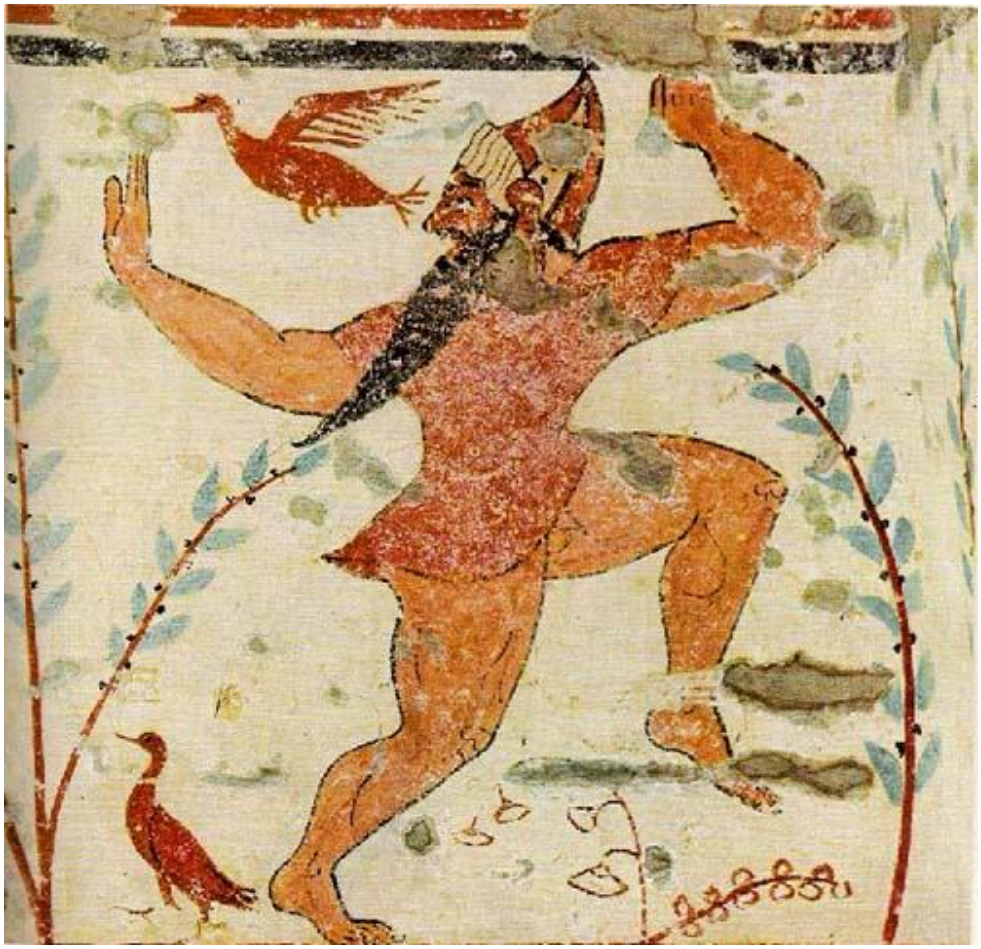


Рисунок 3. Изображение одной из сцен, запечатлённых на левой стене гробницы Авгуров в Тарквинии (ок. 530 г. до н.э.)

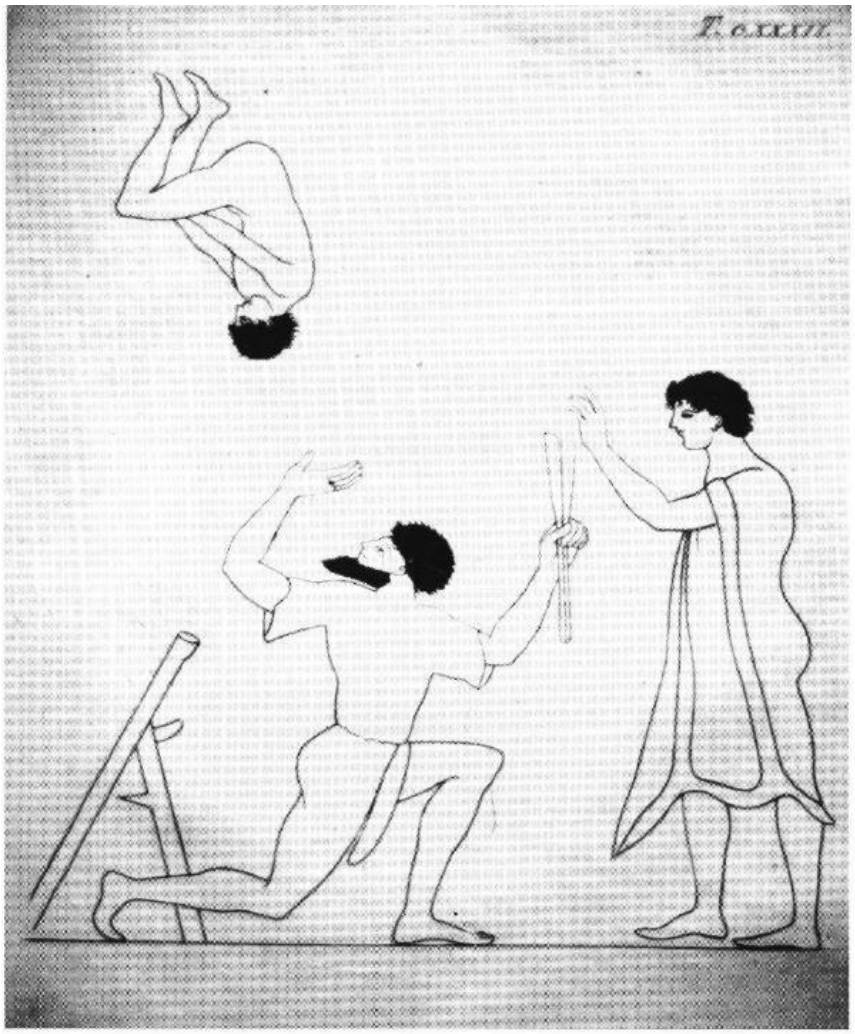


Рисунок 4. Изображение актера в маске

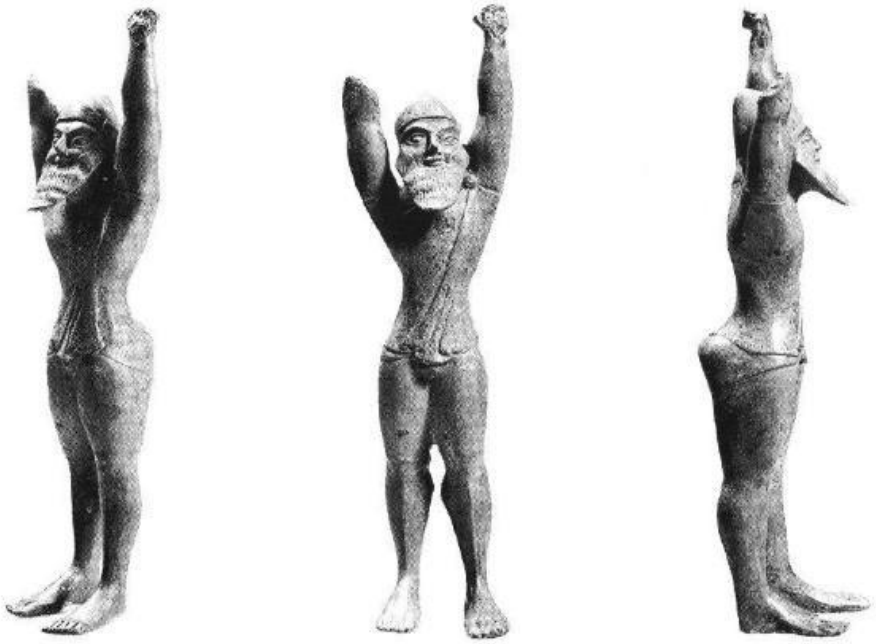


Рисунок 4. Бронзовая фигурка этрусского акробата



Рисунок 5. Фреска из гробницы Олимпиады в Тарквинии (510-500 г. до н.э.)



Рисунок 6. Фреска из гробницы Пульчинеллы в Тарквинии (510-500 г. до н.э.)

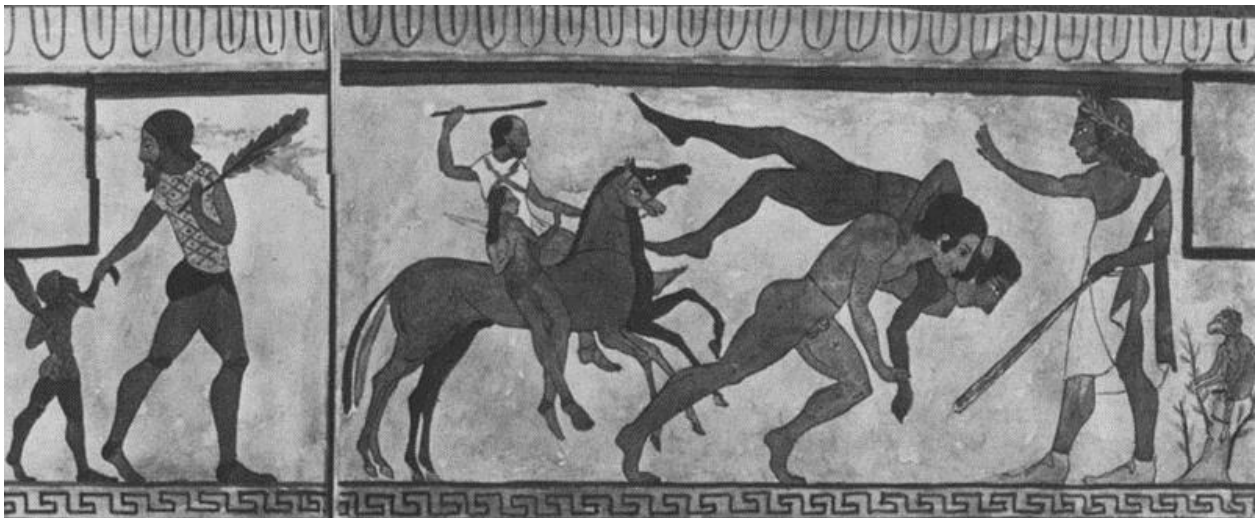


Рисунок 7. Фреска из гробницы Обезьяны близ города Кьюзи (400-390 г. до н.э.)



Рисунок 8. Бронзовые фигурки «актеров»

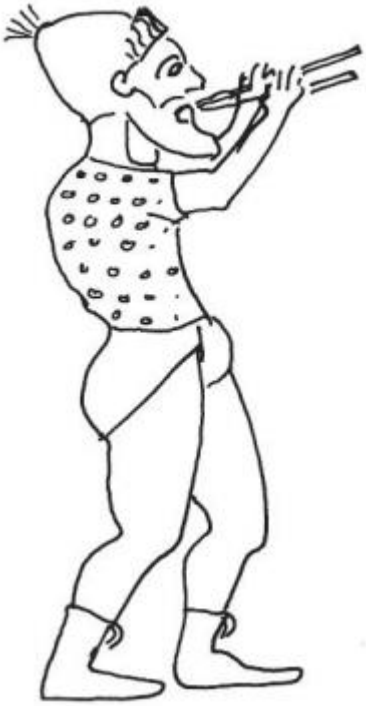


Рисунок 9. Изображение мима в маске, играющего на флейте, из гробницы Обезьяны близ города Кьюзи

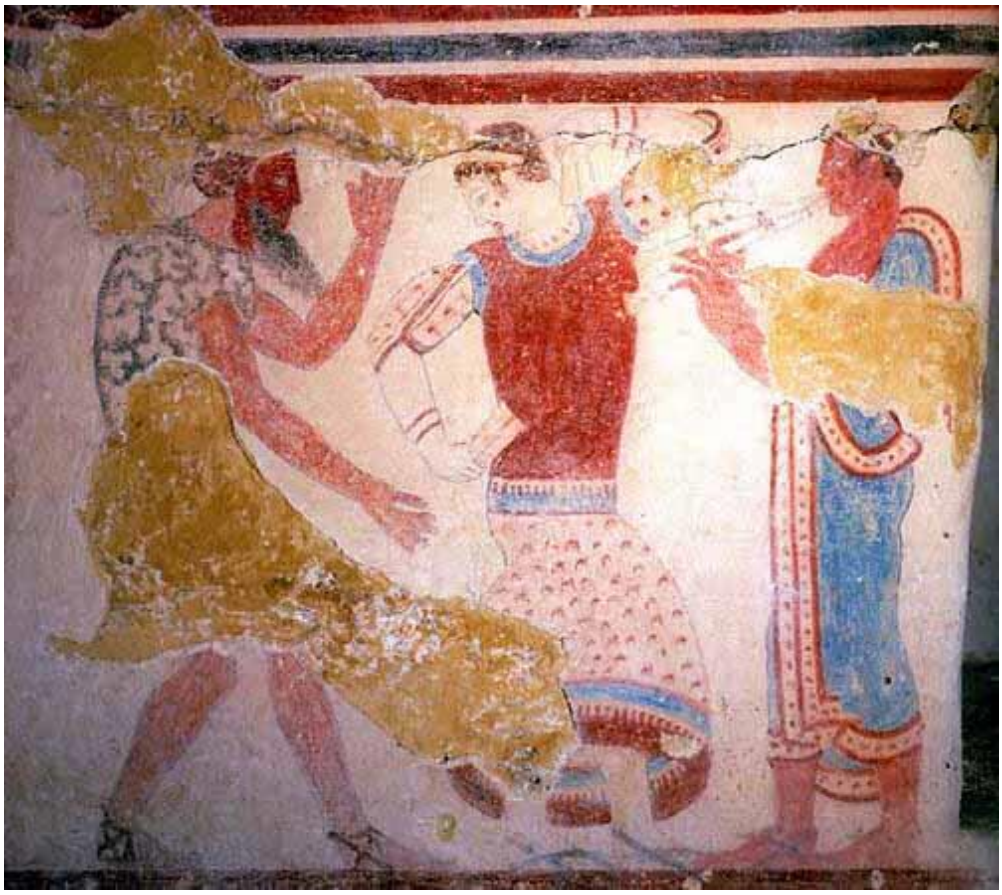


Рисунок 10. Фреска из гробницы Галлы в Тарквинии (400-390 г. до н.э.)